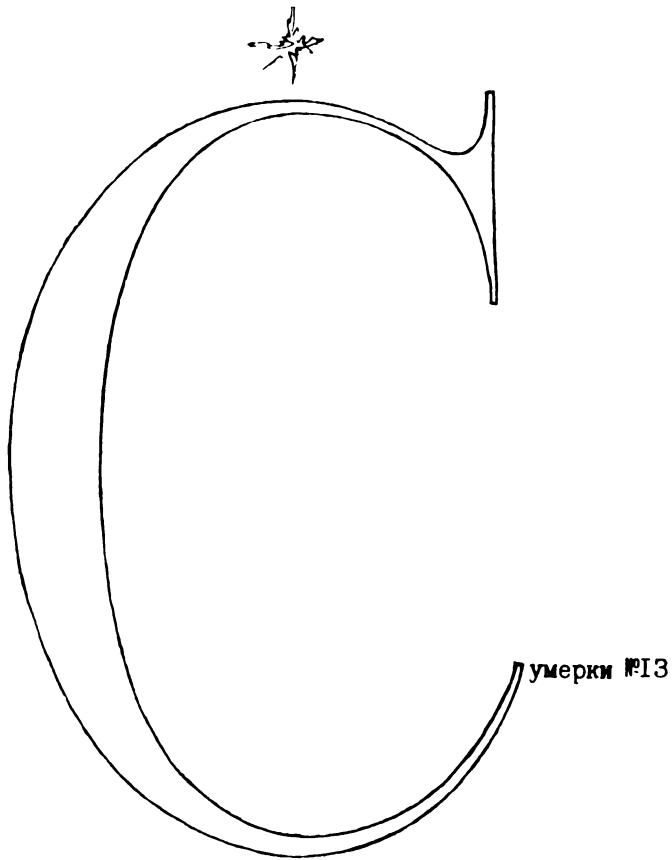




у мерки №13





Сумерки - заря, полусвет: на востоке до восхода солнца, а на западе, по закате; /вообще/ полусвет, ни свет, ни тьма; время, от первого рассвета до восхода солнца, и от заката до ночи, до угаснутия последнего солнечного света.

/Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ П Р О З А

Александр Скидан. "Санкт-Петербург ума..."	4
Игорь Шараров. На отдыхе	19
Игра в бирюльки	17
Владимир Яшке. "Нарисуй из облаков..."	26
Андрей Столетов. Одинокий человек в Тырговиште	28
Я не могу без тебя	31
Всеволод Зельченко. Новый письменник	38
Владимир Симонов. Человек в берете	50
Гамлет	58

ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ

Дмитрий Голышко-Вольфсон. Путь	68
Михаил Богатырёв. Без названия	78
Любовь Краснопёрова. Заяц белый, засыпай	101
Набросок углём	109
Лёгкое	116
Лариса Патракова. Стихотворения, присланные из Феропонтова	121
Михаил Соллогуб. Русское студенческое христианское движение	177

Э Т А Ж Е Р К А

А.П.Балк. Последние пять дней царского Петрограда...	126
"НЕ ГОРОД РИМ ЖИВЁТ СРЕДИ ВЕКОВ..."	
"Парижские приму я Соловки..."	188

BOOKSTAND

Глеб Струве. Утлое жильё	169
------------------------------------	-----

№ 13

IX - XII

1991

СПб

поэзия проза



Александр Скидан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УМА

* * *

В Санкт-Петербурге снег. Суета. Садись,
и, потеплей запахнувшись, съезжая вниз

с горки на санках - стоит назвать пароль,
в Третий по счёту Рим повезёт паром.

Санта Клаус, Харон... прикуси язык.
Сзади - Адмиралтейство, гранитный штык -

(съехала сбруя... Нева... ледяной канал...) -
прямо по курсу. Если не доконал,

как того садока, и тебя борей,
на Царскосельский вал! но сперва налеЙ!

Там юнкера-мазурики клеят смерть.
В вальсе, в мазурке весело юченеть.

.....
.....

В Санкт-Петербурге снег. Колизей. Очнись.
И, потеплей запахнувшись, как в парадиз -

с горки на санках... Не оставляй следа.
Вряд ли захочешь вернуться потом сюда.

.....
.....

В Санкт-Петербурге снег. Парадник. Патруль.
Левое руля или право, как Новый Гуд

будешь втянут в историю. Лучше тьма

так задрнуть на окнах, чтоб ни черта
не было видно, разве что та черта,

которую если мысленно провести,
будет совсем не страшно сказать: прости.

* * *

Обмелело всё, что мелеть могло,
обмолот — при Милетах, при нас — огло-

бля, скажу и в жмурки пойду играть,
собирая подать с петровых Катъ.

Отыкалось им и вошло впритык —
Екатеринбург, и мин херц, и ды:

ёлы-палы — всё, что могло линять,
истекало околлоплодным ять.

А на ижицу как насадить язя
да с фитой по Язуе, кабы лъзя...

по усам в Париже текло бы так,
как из сказки помнит Иван-дурак.

.....
.....

Обмелело всё, что могло мелеть.
Остаётся во мгле, хоть ни зги, неметь.

По-немецки Бог-Нахтигаль, соври,
отпуская Гретхен грехи с иври-

та-т-а-тет мне пела про тот Исход,
обломился которым кронштадский лёд.

Бля, скажу и в жмурки играть пойду,
как не снилось Данту в его аду.

* * *

Паяльной лампой — тоже Диоген! —
и я распугивал прохожих
и паялся на Новый Карфаген
до посинения и дрожи.

Жестокосердые... и я в очередях
и развороченных квартирах
прощался при затепленных свечах
и с дароносицей, и с мирром;

и я теньям возлюбленным шептал
в опустошенном гардеробе
о шапке краденой, о том, как коротал
ночь в императорском сугробе;

и с отъезжающими на паях
укладывался в чемоданы
и шарил на таможенных пирах
полуслепшими глазами.

Зане запомнился калашный говорок,
в чужом похмельное начальство,
объятий родственников черствеющий пирог
с прослойкой призрачного счастья.

Обитель дальняя трудов и чистых нег
Где века сальные обиды,
и ступицы чумных телег,
и смерти мартовские иды.

I

На реке Фонтанке по счёту "раз"
запрокинь шары.
К этим горным сферам грацитный лаз
понесёт дары.

На реке Фонтанке по счёту "два" –
не сочти за труд
перекинуть ноженьку, божью тварь,
за дрожащий прут.

На реке Фонтанке заткни фонтан,
а потом замри,
и как новый маг, чародей, гурман –
искушений – три...

На реке Фонтанке, как отблеск смокв,
фонари горят,
и спускается аглицкий добрый смог
на парижский ад.

На Лебяжьей канавке задрочен Бог.
 От щедрот оград
 сводит скулы. Некому промеж ног
 нереид, наяд

совершать налёты. И мрамор – швах,
 и наряды шлюх...
 И на каждое "боже мой" тех девах
 на три буквы шлют.

Я и сам продрог меж влюблённых двух,
 как француз *L'Albe*,
 поминай теперь, как лебяжий пух
 прилипал к губе;

а не то, как некогда у Россет,
 пригубив клико,
 окликали в том феврале рассвет
 Александр и К^О...

А теперь тот Сад различишь на дне,
 да и то навряд.
 Говорю как друг, не рыдай мене!
 Фонари горят.

фрагмент IV

Тайной вечери глаз знает много Нева,
Здесь спасителей кровь причастилась вчера
С телом севера, камнем булыжника.

Велимир Хлебников

Откуда готика, откуда прежде сны,
откуда рог возвышенной луны,
и хвойный дух в лесах белопогонных,
и снега идут. В зеркалах темноты.
И пропуски в словах, Санкт-Петербург,
ума единорог, откуда морок
второразрядный? Инфлюэнца, насморк
и кенотаф из скандинавских плит?
Избыток, патока несбыточного рая.
Твердыня и цезура мира,

крен

балтийской синусоиде.

Попытка

в семнадцатом не суицида, но...

А что пенька и лён в твоей Тавриде?..

В скалистых фьордах фолианты Фрейда
листай, там всё написано о смертных,
торгующих деторождением смертных.

А снега идут...

В оранжерее разорённой Биржи
раскрой объятия залетейской стуже
и яблочком катись по Малой Невке,
на частичке к Некрасовскому рынку,

к подстриженному аглицкому парку,
где вреден севѣр, где скрипят полозья,
как армия писцов нотариальных.
Здѣсь похоронен неумытый князь.

В камзоле? В тоге? Прах ни отряхнуть,
ни вытряхнуть. Санкт-Петербург ума,
откуда готика, когда ещё не назван
никак, - но существует? Существоуй!
Как ты да я, как гений и злодейство.

Откуда готика? Откуда прежде сны.
Откуда рог возвышенной луны?
"Все, кто блистал в тринадцатом году -
Лишь призраки на петербургском льду."

И хвойный дух в лесах белопогонных...

Подошвы чуют гуд грунтовых вод.

Свободен путь под Фермопилами...
Георгий Иванов

Дыша, как дышится – толковым словарём,
на толковище безударном,
где ять и ижица, униженно вясь...
Как им на горло песней наступили
(о, воли о Песней Песней!) санитары-
краснодеревщики, Аз, денщики,
воспрянувшие радостно у входа
в разогнанную Учредилку, те,
что учредили для бытописанья
подобие диеты пуританской –
по-руссоистски приспустив портки
как западникам, так и русофилам
(Кириллу и Мефодию).

Кириллиц

дружны добровольческие шли
под трибунал, под гарнитуру таймс
в створоженной фасетке. Но дышали
как дальнобойным эхом из Парижу
контуженные мальчишки – картечь,
ком.патриоты, юнкера, с начинкой
разнокалиберного разночинства, –
заколотые опосля в райке,
в том, Достоевском, в доску поминай
как звали, не увидевшие "Федры"
в дистиллированные Цельсием бинокли
армейские, с обратной перспективой...
Всклянъ налитые дисциплиной смерти,
обороной
консервов твёрдой крови, плазмы вшей
окопных, взматеревших на поминках
по стратегически-соборному сырью,
клиническому донорскому долгу
словесности отечественной. Амен.

Иль в самом деле оказался прав
от православной церкви отлучённый
боярин, призывавший: міру – мир,
земля – крестьянам, хижины – дворцам,
а небо Аустёрлица – Андрею
Болконскому, и что в Эгейском море
нам нечего топить, кроме цепей
и эпоса Гомера?

Гей, славяне!

...Когда бы я не видел эти игры
коллежских регистраторов, с повинной
являющихся к смердяковым власти...

Одна отрада: хмурый Ходасевич
повелевает умереть отсюда
ночными и безумными словами,
разящими – "как бы мираж
в пустыне сей". И я э т о увидел.

Прощай, прощай! Не помни обо мне.
Но, иждицу с фитой храня в обойме,
склоняй тех, в пыльных шлемах, комиссаров
к классическому правонаписанью,
классическому.

* * *

Владимиру Иосельзону

Как факельщик, иззябнувшую темь —
где зыбких стёкол ускользанье,
и госпитальная чайнок канитель,
и канифоли колыханье

в бокалах чокнутых — фотограф растопил.
На скатерти, как светопреставленье,
обид домашних рукотворный пыл,
последнее оледененье.

И сладко так в засвеченной ночи
плутать — как по руке гаданье! —
вгоняя в краску там, где кирпичи,
возлюбленное содроганье.

НА ОТДЫХЕ

От моего стола до постели пол вытянутой руки. Это потому, что я всегда хотел так устроиться и жить в стеснённых условиях. Под моим потолком чужое окно. Когда утром там зажигают свет, я морщусь и глубже прячусь под одеяло. Скорей бы кто-нибудь задвинул на этом окне занавеску. Не делать же этого, право, самому.

Утром я, как правило, не спешу, подолгу прохлаждаюсь, не встаю, просто так без суеты лежу, и у меня есть время подумать про всё. Про свою жизнь. Вот так в тишине, полутьме и покое я по-ребячески радуюсь и отдыхаю.

Когда же светает, то подхожу к окну. Солнце даёт мне знать, когда нужно укреплять свои силы. На завтрак я беру две виноградины и один лимон. Клюквенный сок придаёт бодрости и здоровья. Я размышляю.

После завтрака я возвращаюсь к себе. В комнате стоит огромное плюшевое кресло. Старое: я вообще-то не люблю новых вещей. В кресло я присаживаюсь, чтобы немного отдохнуть. Как хорошо, что никого нет. Я так этому рад, что закрываю глаза и нежусь, дышу без усилий.

В половине второго меня иногда можно увидеть во дворе, где я люблю неспешно прогуливаться в одиночестве, время от времени делая медленные вдохи, сосредотачиваясь при выдохе. Как здесь хорошо и привольно! Как люблюсь я на пустынный пейзаж!

Но довольно! Пора наконец подумать и о себе. Не время задерживаться, а надо быть дома, где ждёт разогретый обед. Наскоро перекусив, стараешься одновременно улучшить минутку и, призакрыв глаза, немного отдохнуть. Пользуешься тем, что рядом-то никого нет и нет причины торопиться. А тут уж и звонит будильник это

условный сигнал, ныряешь под одеяло, на ходу с головой погружаясь в лёгкий послеобеденный сон, роскошный, сладкий, без сновидений, в ту самую приятную дремоту, что так помогает, дарит душе радость и просветление.

После сна встаёшь с явной неохотой, в ленивой дури шевелишь большими ногами. Самое трудное – это в первый раз спустить их с дивана на холодный паркет. Ну разве нельзя для разнообразия разрешить себе раз-то хоть не мучиться? Втягиваешь ноги обратно под одеяло – какое облегчение! – и доверчиво так, безмятежно и беззлобно засыпаешь вновь.

Потом – лёгкую домашнюю одежду, но только простую, ту, что так приятно лежит на теле, как простыня, и присаживаешься в кресле. Там немного отдыхаешь и, переводя дух, когда становится чуточку легче, улучишь для себя минутку-другую просветления и думаешь. Самое лучшее – это скука. Человеку просто необходимо часть времени целенаправленно скучать. И потом... так легко дождаться ужина.

Ужинаешь – и второпях в постель. Едва успеваешь сбросить с себя одежду – и уже влезает под одеяло, разморенный усталостью. Здесь всё так просто, знакомо, никогда не подведёт, бесхитростно, искренне и никаких подвохов. Подушка распаивает тёплые объятия и целует на лету, как доброе родное существо. Всё тебе доступно и в твоей власти, охотно отвечает на любую ласку, причём можно вести себя, как хочешь, и никто не увидит. Сюда спешить всегда, чтобы хорошенько, по-настоящему выспаться и немного отдохнуть. Вот так перед сном ещё примерно минуту лежишь в неподвижности, и думаешь, и скучаешь. Больше всего радуется мысль о том, что вчера тоже так было, да и завтра, наверное, будет, что не надо самому ни о чём думать, ну там жарить себе обед или выбирать в магазине одежду, что никто тебя здесь не тронет, не посмеет и не найдёт, это уж точно, что так-то тебе замечательно повезло, как-то всё это устроилось, организовалось и что ты – счастливейший в мире.

ИГРА В БИРЮЛЬКИ

Другу и учителю Герману Гессе, влияние которого на моё творчество просто невозможно переоценить.

Я разложил солдатиков. Они теперь единственные мои друзья. Один из них подскочил к другому: "Товарищ командир, товарищ командир!" Они точно такие же, как были раньше. Как я им завидую!

Я вспоминаю детство. Я тогда хорошо понимал этих солдат. Мы с ребятами во дворе занимались военной наукой очень серьёзно и вымуштровали их замечательно. Мы всегда участвовали в их войне, а один даже погиб. Жалко пацана — попал в минное поле. А был такой шустрый, вихрастый.

Помню, как всё это кончилось. Ко мне ещё тогда подбежал мальчик из соседней парадной и закричал так взволнованно: "Белые! Белые! Нас предали!" Я испугался страшно, но виду не показал.

"Всем, — сказал я решительно, — приготовить деревянные мечи. Сегодня будет настоящая игра. Такая, что получишь зазубренным деревянным мечом по голове — только держись. Пойдут самые смелые. Все, кто боится, пусть лучше сидят дома. Ты, — указал я на одного мальчика, худенького и в очках, — конечно же, не пойдёшь. Ну и не надо. За мной!" — кричу, и мы укрылись в крепости.

Это была надёжная грозная крепость. Солдаты были веселы и приветливы, чистили сабли, смазывали пулемёты. Всего у нас было чуть больше восьмисот солдат. "Ну! — сказал я, и они обернулись ко мне. — Готовьтесь к тяжёлому бою. Если не подоспеет помощь, мы все погибнем."

Против нас шли четыре тысячи из соседнего скверика. Там собирали свои силы белые.

Матросы заняли первые ряды обороны. Встали в каре, оцетинились штыками. Это была старая испытанная гвардия. Рослые, тяжёлые, их не сразу собьёшь даже прямым попаданием, они всегда грудью встречали врага и часто в одиночку ходили на танки.

За ними в окопах расположились синие пластмассовые матросики — почти пятьдесят человек. Раньше это были целые две пачки, но как-то один мальчик из наших врагов врезался во время атаки в их строй и основательно их передавил, причём многим отломил головы, так что нельзя было и починить. Эти матросы были гораздо слабее оловянных, но всё же окопы скрывали их по голову, а песчаные башни иногда целиком. Противнику здесь никак было не обойтись без бронебойной артиллерии.

Впереди, в траве, отлично маскируясь, прятались оловянные индейцы и каучуковые ковбои. Им строго приказано пехоту и танки пропускать через себя, а на кавалерию нападать с тыла.

Дальше за частоколом из деревянных кольчужек расположилась артиллерия. Пушки стреляли зажжёнными спичками. Были также две ракетницы, два мальчика, вооружённые пистолетами с присосками, а против мальчиков — противников — рогатки, камни и деревянные сабли.

Но вот шайка врагов ворвалась во двор и с гиканьем бросилась в наступление. На их белом знамени были нарисованы череп и кости, а ниже пальцем, испачканным в краске, было намалёвано слово: "Бей!" В войне они не придерживались никаких правил, как и положено в настоящей игре. Мелкие камешки и рогатки смяли первые ряды обороны. Шахматные фигуры отступили в боевом порядке. Чёрный король остался на поле боя, командование взял на себя белый. А матросы выдержали.

Пошли танки. Но тут загрохотала наша артиллерия, один пластмассовый танк расплющило всмятку, другому — большому с колёсами — поломали башню, а лёгкий красный броневичок подпрыгнул на пригорке и перевернулся. Из него высыпали зелёные солдаты. Противник увидел, что замок хорошо укреплён и что танковые части несут слишком большие потери, и повернул. Начался методичный артобстрел. Ещё все орудия не подвезли, а песчаные стены первой линии обороны были уже частично разрушены. У них было десять человек с рогатками! А должны были подойти ещё. Но мы тоже ответили огнём, и ещё два их танка перевернулись.

И тут начался штурм. Со всех сторон шли, ехали, скакали солдаты всех цветов и обмундирований. С юга нападали пластмассовые рыцари. Пехота шла, отгородившись щитами, а впереди на коне мчался красавец в зелёном шлеме с пером и с копьём наперевес. Метался

из края в край нашего строя, поражая одного за другим наших лучших бойцов. Такое мужество могло послужить хорошим примером. Все знали, что этого героя зовут Айвенго. Рыцари – опытные бойцы. Они хорошо обучены, закалены в турнирах. Закованные в железо с ног до головы, они почти что неуязвимы. Наши будёновцы дрогнули и стали отступать. Рыцарей было много. Со всего скверика их собрали больше ста человек.

Но с запада наши дела были ещё хуже. Там наступали американцы. Таких мы вообще никогда не видели. Огромные, выше танковой башни, яркие жестяные фигуры в касках с надписью "U.S.". В руках они держали длинные карабины. Достаточно было повернуть ручку у них сзади, и ствол карабина изрыгал огонь. А прикрывал их наступление мальчик с пистолетом. У него, наверно, папа привёз эти игрушки из Америки. Пистолет у него был как настоящий, американский, с патронами. Настоящими пороховыми. Стрелял он пробочками, но так сильно, что на расстоянии было больно, когда они попадали. И оставался маленький синячок. Тут уже не станешь спорить, убили тебя или не убили – и без того всем всё ясно.

Американцы опрокинули наших матросов и приближались к частоту. А слева, на фланге, мял наши укрепления радиоуправляемый луноходик. Один мальчик сделал его сам из конструктора. В крышку луноходика уже два раза попадали камнем, не причинив ему никакого вреда, он же тем временем развернулся и пошёл вдоль песчаной стены, давя и разрыхляя её. Впереди к нему было прикреплено что-то вроде ножа бульдозера. Этим приспособлением он засыпал маленьких матросиков в окопах и сбивал шахматные фигурки.

Уже были использованы все резервы. Уже один мальчик сбегал домой и принёс старые стеклянные китайские фигурки с деревянными пиками. Солдаты падали в первых рядах, но не отступали. Смяты и искрошены были передовые линии укреплений. Вражеские бойцы или добивали оставшихся – ломали пополам, – или же многих брали в плен, чтобы потом использовать самим. Будёновцы скрылись за частотолом. Артиллеристы израсходовали уже много коробков спичек, и спички подходили к концу. А враги засели в окопах и почти не несли потерь. Белые готовились к решающему штурму, и готовились очень основательно.

Принесли что-то завёрнутое в белые пакеты. Начали распаковывать. Кто-то принёс дымовую шашку от насекомых. В остальных

бумажках оказались просто пластмассовые дымовухи. Их разнесли по флангам и подожгли. Положение выбрали так, что ветер дул как раз в нашу сторону. Воняло дустом ужасно. Мы думали, мы все отравимся, но держались. Ничего, обошлось. Отравился только один. Он стоял у частокола в самом дыму. У него началась рвота, и он никак не мог выбраться, он лежал там на животе и кашлял от дыма.

Белые разложили костёр. Они поджигали на нём дымовухи и разные другие вещи. В нашу сторону летели палки и угли. Потом подожгли целую банку с порохом, и она, как ракета, рванулась в сторону наших укреплений. Частокол загорелся, а тот мальчик, что раньше его охранял, испугался и бросился бежать, давя строй наших танков. Зачем? Неужели ему не было известно, что "колбаса" — так мы называли такую ракету — всегда устремляется вслед за потоками движущегося воздуха. Она и полетела, вращаясь как колесо, следом за ним. Попала. Потом взорвалась. Мы не поняли почему, ведь порох только тогда, когда закупоренный, взрывается. Мальчику обожгло лицо, и он убежал, плача. Мы пожалели, что имели дело с ним.

Потом те ребята стали плавить свинец. Они принесли с собой кусок большой толстой трубы — от кабеля — и плавили на огне в кастрюльке. Когда это варево у них достаточно разогрелось и растаяло, они вырыли в песке совками узенький канальчик, ведущий прямо к частоколу, и спустили туда всю бурлящую жижу. Частокол загорелся. Но это было ещё не самое страшное. Четверо ребят принесли с помойки выброшенных больших пластмассовых кукол, зажгли им волосы и под прикрытием завесы бросились к частоколу. С горящих кукольных ног и рук, пластмассовых голов стали падать огненные капли, как напалм. Загорелась трава на газонэ. Наша крепость была прижата к углу дощатого плотного забора — так вот, от забора тоже пошёл дым. А мальчики ещё раскрутились вокруг себя, и брызги полетели на нас, как трассирующие пули, причиняя ожоги. Частокол пылал. А они принесли ещё и вылили в тот же канал банку автобензина. Крепость горела. Артиллерия, отрезанная огненным ручьём, не смогла выйти из окружения и погибла полностью. Нам больше нечем было защищаться. Одного мальчика отрезало вместе с танковой бригадой. Вот ему одному удалось пробраться к частоколу, он рассказывал потом, что он там видел. От пушек осталась горящая лужица, шахматы тлели в дыму, в окопах бравые матросы-гвардейцы

слегли и превратились в груды бесформенных оловянных слитков. Пластмассовые танки подхватило огнём от частотола, они размякли и осели, на мальчишке загорелись одежда и волосы, а позади уже всю дышал огнём сосновый забор.

Стало ясно, что придётся отступать. Белые уже радостно кричали: "Сдавайтесь, сдавайтесь!" Но у нас в песке под забором был прорыт подземный ход. С той стороны его охранял часовой с карабином. Когда мимо входа проходил любой человек, пусть даже взрослый, он всё равно спрашивал: "Стой! Кто идёт! Говорите пароль!" И не пускал проходить без пароля даже взрослых. Такой ему был дан приказ. Но взрослые всё равно проходили. Другое дело — дети. И сейчас к нему подошёл один мальчик — из "наших". Он не участвовал, когда мы готовились к обороне.

"Стой!" — закричал часовой. "Ну что ты... — сказал наш мальчик, — ты же видишь, что это я". "Разговорчики! — закричал караульный. — А ну, пойдём к командиру! Или живо говори пароль." Но я его не знаю, — сказал мальчик, — да и что за дело. Ты же знаешь сам, что я — из "наших". "Меня не обманешь, — сурово сказал мальчик на карауле. — Ни фиги! У меня на счету уже четыре диверсанта."

Тут как раз мы вышли из этого подземного хода.

"Эй! — сказал один из ребят. — Так ведь ты был только один, кого с нами не было в крепости. Это неслучайно — что тебе неизвестен пароль. И ты вместе с нами знал, что нас в этот раз будет мало и что наших союзников из спортивной школы в этот раз не будет. Значит, ты и есть предатель. Бейте!" — и ребята набросились на него.

Мальчик пустился бежать и даже вскочил на велосипед, но ушёл он недалеко. Наши тоже многие были на велосипедах, выскочили ему наперерез и стали стрелять из пистолетов красными резиновыми пулями, хотели "прижать" к поребрику тротуара, чтобы он оттолкнулся с велосипеда. А у одного из наших было немецкое пневматическое ружьё, он заряжал его всегда кристалликами крупной соли и очень метко стрелял. Он прицелился и выстрелил два раза вдогонку. Предатель полетел с велосипеда, шлёпнулся и проехался немного по асфальту. Там осталась кровь, значит, наверное, он содрал кожу. Но слева и справа уже подбегали наши с деревянными саблями, и две красные пули его, кажется, задели, поэтому он не остался ле-

жать, а сразу вскочил и побежал наверх в ближайшее парадное. Мы испугались, что это он побежал к себе домой, но нет, он жил в другом доме, а это была всего лишь хитрость, хорошо известный нам приём: он хотел по лестнице выбежать на крышу, а там через чердак проскочить в соседнее парадное и так уйти из окружения. Но наши знали такой приём. Я приказал двоим стать и караулить внизу выходы, а сам что есть сил бросился в соседнюю парадную.

И действительно, через минуту его голова показалась в чердачном окне, и он выскочил на крышу. Но там его уже ждал я, а следом за ним появились уже и "наши" ребята.

Я подошёл к нему, взял за ворот толстого пальто и подвёл к самому краю крыши. "Что же ты, — говорю, — собака?"

Он ничего не говорит, молчит только, тяжело дышит и смотрит испуганно.

"А? — говорю. — Будешь знать, как предавать," — и с размаху ударил его. Он полетел туда вниз. Там строители вырыли котлован под фундамент, который сейчас был заполнен водой.

Что случилось с тем мальчиком дальше — не знаю. Надо было срочно придумать, как отомстить врагам. Мы видели сверху, как они плясали в дыму на остатках нашей крепости. Пришла чья-то бабушка и долго охала, что это они здесь так много дыма развели. Но они всё равно плясали, никак их было не унять. А потом забрали всех солдатиков — наших солдатиков! — и унесли с собой в скверик. Там у них была своя крепость. Это было обидно, и непременно надо было что-то придумать. И я придумал.

Недалеко за городом у нас стояла военная часть. Артиллеристы. Уже спускался вечер, темнело, когда мы на хорошо надутых шинах бесшумно подкатили туда. В проходной стоял часовой с автоматом, и один из наших стал отвлекать его разной чепухой. Он подошёл к нему и спросил: "Дяденька, а у вас автомат настоящий?" Часовой рассвирепел и сразу же погнал его, но тот постоял ещё несколько минут, а нам тем временем удалось проскочить в проходную. Но часовой нас заметил. "Стойте! — закричал он. — Да куда же вы, пацаны! А вот я сейчас стрелять буду!" Но стрелять он не стал, мы смело пробежали мимо. Часовой же на вышке выстрелил один раз — в воздух! — и тут же позвонил по телефону. Нас стали искать. Но они же не знали, что мы пойдём прямо к пушкам! Пушки стояли на огневом рубеже, потому что сегодня были учения, и всё было готово к бою.

Я уже говорил о том, что мы во дворе очень серьёзно проходили военную науку. Все ребята знали, как развернуть пушку, как зарядить, как прицелиться. Они развернули её, а я включил громкоговоритель и сказал: "Внимание! Мы навели оружие на здание командования! Всем немедленно разойтись, или мы откроем огонь!"

В ответ нам раздалось (тоже по громкой связи): "Дети! дети! Это не игра! Послушайте, прошу вас! Это вам говорит взрослый человек и настоящий военный – командир дивизиона. Идите немедленно по своим мамам и папам. И мы никого даже не тронем. Слышите, что я вам говорю?"

Мы не стали с ним спорить. Разве они знают, что такое настоящая игра! Я только невозмутимо повторил: "Всем приказываю немедленно покинуть свои посты и вообще территорию части. Сегодня здесь воевать будем мы. Через минуту, или же при попытке сопротивления раньше, мы откроем огонь."

В сторонке стоял покрытый брезентом бронетранспортёр. Для большей убедительности мы произвели по нему пробный выстрел. Ребята развернули пушку, и я скомуандовал в микрофон: "По бронетранспортёру бр...бойным – пли!"

Сверкнула вспышка, потом раздался оглушительный взрыв. Он подпрыгнул, и игрушечный. Из казарм и будок высыпали и бросились бежать к входу солдаты. Мы почувствовали, что одержали победу.

Вещание работало на весь городок. Там внизу было слышно всё, что я говорил в микрофон. Я сказал: "Всем жителям немедленно покинуть скверик на углу улиц Победы и Кутузовской. Через четыре минуты начнётся обстрел."

Смеркалось. Становилось плохо видно. В скверике загорелись огни. Мы достали бинокли и следили, как через ворота на улицу валит перепуганная толпа. Там были и дети – наши враги, белые.

Неподалёку остановился зелёный "газик". Из него через мегафон на крыше снова заговорил командир части: "Дети, опомнитесь! Что вы делаете! Чем вам помешал скверик? Идите домой, и мы всё вам забудем."

Я говорю ему: "Дядя! Забудь лучше, что ты когда-то здесь командовал. И вообще помолчи, а то мы сейчас твою машину..."

Он понял.

Мы навели ещё три орудия. Залп – и на месте скверика оста-

лась только куча пыли. "Ещё! - сказал я. - Добавим!"

Дали ещё залп. В сквере остался только обломок ограды и какая-то беседка.

"Ещё снаряд!" - сказал я.

На месте беседки выросло облако. Куда ещё? У нас оставались ещё снаряды.

"Ребята! - говорю. - Это получается как настоящая война. Перед нами вражеский город. Они не хотят сдаться, значит, они наши враги. Наводи на заводик."

Потом сказал в микрофон: "Всем немедленно оставить заводик на краю города."

Внизу заволновались.

"Дети! - заорал мегафон командующего. - Да вы что! Вы же не со зла это делаете! Ну чем вам не угодил заводик? Ну надо же знать, где кончается игра!"

Спрашивается, что он в этом понимает! Если не идти до конца, то игра перестанет быть игрой.

Я обернулся к нашим. "Вы слышали! Они не сдаются. Но мы оставим их. Огонь!"

Три орудия дали залп. Потом ещё раз. Завод загорелся, но снаряды подходили к концу.

"А теперь, - снова обратился я к тем, что внизу, - мы хотим, чтобы город сдался. Пусть над зданием мэрии вывесят белый флаг. И пусть группа военных командиров принесёт нам ключи от города. Да-да, те самые, что хранятся в краеведческом музее. Четверть часа на размышление," - и я отключил микрофон.

Внизу долго молчали, а потом майор по радио сказал: "Ну, ладно... Ну, сделаем..."

Мы ещё увидели, как над зданием мэрии на флагшток взвивается белая простыня. Но дальше ожидать было некогда. К краеведческому музею по дороге вовсе уже пылил закрытый брезентом "газик".

"Ключ, - сказал я ребятам, - они достанут из музея не раньше, чем через пятнадцать минут. По коням!"

Мы вскочили на велосипеды и покатали по шоссе. И уж конечно, не в ту сторону, где дорогу перегородил этот драндулет - бронетранспортёр с майором.

И всё же, хотя никто не мог нам помешать, это слишком походило на настоящее отступление. Прохожие нам что-то кричали вслед,

а один на грузовике даже хотел перегородить путь, мы еле ушли. Армии у нас не было. Мы были полностью и окончательно разбиты. Некоторые из нас числились убитыми и не могли поэтому в дальнейшем принимать участие в игре. Больше мы вместе не собирались никогда. Нас ничто уже не объединяло.

Позже, когда я стал взрослым, я сам стал зарабатывать и распоряжаться деньгами. Сначала моим восторгам не было конца. Я покупал солдатиков везде, где видел: пять, десять пачек, чтобы только не приняли за сумасшедшего, оловянных, пластмассовых, сильных, слабых, больших, маленьких – любых. Моей мечтой было скопить из них новую армию. Но скоро я понял, что сорил деньгами и радовался преждевременно. Те ребята, с которыми я играл, тоже уже стали взрослыми. Я им не мог даже так прямо сказать. Я намекал. Но они будто бы не понимают. Или делают вид. Дети меня в свою компанию не берут. Да и жалко это выглядит: взрослый вдруг в детской компании. Да я и не пробовал, неудобно проситься. Я сижу в своей отдельной однокомнатной квартире (в уборной) наедине со своими грозными войсками. Им скучно. Я не знаю, что делать. Ничто другое меня не интересует. Дисциплина падает. Маневры не помогают. Я боюсь бунта. У меня столько пороха в пороховницах, что я опасаясь – они меня взорвут. Сплю я на пороховой бочке. Сапоги не снимаю уже второй месяц. Ношу только плащ-палатку, даже на работу и в общественную столовую. Хочу быть таким же, как они. А люди оборачиваются. Искусство игры умирает. Оно умирает со мной, ведь я считался всегда неплохим полководцем. Положение поистине катастрофическое.

Владимир Яшке

«НАРИСУЙ ИЗ ОБЛАКОВ...»

Нарисуй из облаков
незнакомых городов
рек дубрав заливов ветра
бирюзовые портреты
и янтарные ландшафты
осень – только и всего

От залива то ли влево
то ли вправо видно поле
плохо видно. Вечер что ли?
Вечер. В поле никого
а за полем сразу дом
дом как дом, но дело в том,
что я сразу же решаю
невозможно не узнать
но совру, когда узнаю –
очень хочется узнать
дом у озера ли речки
у камина или печки
за столом сидит семья –
может там родился я?
Что-то в озере проплыло
я спросить собрался было
вижу – только облака
отражаются в воде
а страна не знаю где.

Та не знаю чья страна
та не знаю чья жена
та не знаю чья семья
знают правду, но не я.

Те не знаю чьи заливы
города дубравы нивы
осень, дом
по коридорам
чьи шаги за разговором
за не знаю чьим столом
под не знаю чьим окном
в той не знаю жизни чьей
точно знаю — не в моей
мы об этом не поспорим
пусть живётся хорошо им
в мире хоть бы по сто лет
просто жаль, что нас там нет.

Нет ни дома ни у речки
нет ни в лодке ни у печки
в этих дивных городах
в парках улицах садах
ни в заботах ни во сне
в той придуманной стране
за лесами и горами
где придуманные нами
люди разные живут
песни разные поют
где в полях
по коридорам
за работой разговором
за обеденным столом
на скамейке под окном
словом мыслями делами
все как будто рядом с нами
нас поодаль и кругом
те подумаем о ком
те кого простыл и след
для кого нас нет как нет.

ОДИНОКИЙ ЧЕЛОВЕК В ТЫРГОВИШТЕ

Здравствуй, милая!.. Я так давно не видел тебя. Теперь ты приходишь лишь во сне и лишь случайно. Опять снится путь к твоему дому: по пустынным улицам, через рыночную площадь – дальше вниз по холму – улочки всё уже, за низкими заборами жасмин, цветущая сирень. Шаги гаснут в мягкой пыли, ещё хранящей тепло раскалённого дня.

Любимая! ...Я ведь никогда не произносил это слово. Лишь однажды обмолвился: "Ты мне нужна". Теперь пишу. Начертанное пером – несколько хвостатых букв, и нет в нём тебя.

Кто бы поверил, что господарь Влад ночью пишет письмо любимой?

От выпитой вечером ракии чуть шумит в голове, но мысли спокойны и холодны. У нас всё хорошо. Турки не осмеливаются нарушать границу, урожай был прекрасный, так что рынки переполнены иноземными купцами: венгерскими,

О ж е н а х . Блудящи коя жена от мужа прелюбы сотворит, он же веляше срамоту ея вырезати и кожу с ней содрати, а ея нагу привязати, а кожу на столпе обесити посреде торгу, такоже и девицам, кои девство не сохранят, и вдовам також, а иным сосца отрезаху, овым же кожу содравши со срема ея, и, рожен железен разжён, вонзяху в срам ея, и усты исхождаху, и тако привязяху, стояше у столпа, дондеже плоть и кости розпадутся или птицами снаден будет.

ГИМ, собр. Забелина № 451, л.856, испр.
по ГБЛ, собр. Ундольского (ф.310) № 632

франкскими, венецейскими. На чисто выметённых улицах не увидишь, как прежде, яродивых, калек, нищих. По воскресеньям храмы заполнены истово молящимися людьми. ...Отстроена крепость Повнару. Валахия расцветает, и есть в этом и частица моего труда.

А помнишь тот источник в лесу, около торгового тракта? — Теперь на камне, над самой водой — стоит золотая чаша. И каждый усталый путник может пить из неё.

Если бы не люди!.. Мне так трудно с этими лгунами, ворунами-тварями. Оставил им всего четыре заповеди:

"Не лги!"

"Не убий!"

"Не укради!"

"Не прелюбы сотвори!"

...а они — жрущие и испражняющиеся слизняки! Это не грешники — грех чисто философское понятие — подонки!.. И я среди них.

Не надо об этом. Лучше думать о тебе. — ...Когда ты рядом, мир — преображался. Дождь, смывающий пыль с листьев и домов — ...Анна. Небо, глаза, лужи на улицах Тырговиште — всё сияло. И мы, уходя,

О н и щ и х . Единою пусти по всей земли своей веление, да кто стар, или немощен, или вреден чем, или нищ, вси да приидут к нему. И собращася безчисленно нищих множество и странных к нему, чающих от него великия милости. Он же повеле собрати их всех во едину храмину великую, на то устроену, и повеле дати им ясти и пити доволно; они же ядше и пивши возвеселишася. Он же приидя к ним и глагола им: "Что ещё требуется?". Они же вси отвещаша глаголаху: "Ведает государю княже, бог и твоё величество, как ты о нас бог вразумит". Он же глагола к ним: "Хотете ли, да сотворю вас безпечалны на сём свете, и ничим же нужни будете?". Они же чающе от него велико нечто и глаголаше вси: "Хощем, государю". Он же повеле заперети храмину ту и зажещи огнём, и вси ту сгореша. И глагола боярам своим: "Да весте, что учиних тако: первое, да не стужают людям, и никто же да не будет нищ в моей земли, но вси богаты; второ, свободив их, да не страждет никто же на сём свете от нищеты или от недуга".

ГИМ, собр. Забелина № 451 лл. 854 об. — 855

Я пытаюсь выразить в словах свою нежность и боль. Но что? Господи, как чёрен и страшен созданный Тобою мир! Порази его, как Ты порастил Содом и Гоморру! ...Когда я вижу их, посаженных мною на кол, я начинаю сомневаться, что это — люди.

Земля прекрасна, жаворонки поют в полях. Почему же всё так грязно и странно?.. Я, воин, государь — в бессильной ярости готов грызть собственные руки.

А наша последняя встреча. Это было вскоре после Пасхи – воздух тёплый, да – в воздухе запах солнца. В низких деревянных ящиках расцвели гиацинты: розовые, сиреневые, кипенно-белые. И мусор – крашенные луком яичные скорлупки. Зачем ты солгала мне, что ждёшь ребёнка?

Я снял с тебя одежду, и ты думала – для любви и раздвинула ноги. Анна, ты знаешь, я не мог поступить иначе.

И это была не ты, моя любимая, а брызжущий кровью кусок мяса. Зачем ты солгала?.. Я выволок ещё тёплое тело на улицу и оставил у дверей, склизкие внутренности вывалились из длинной раны – от подвздошья до тайных губ.

Потом, наверное, твой труп был выставлен в нижнем городе – у колодца или у моста, с указанием, за что ты казнена. Точнее не знаю.

О с л у з е . Некогда же обедала под трупием мёртвых человек, иже на колии всажены округ трапезы его; он же посреде их ядаше и тем наслаждашеся. Слуга же пред ним ясти ставяше, смрада оного не могий терпети и заткнув нос и на сторону главу склонив. Он же спросив его: "Что ради тако чиниши?". Он же отвеща: "Государю, не могу смрада сего от мёртвых терпети". Дракула же повеле его на кол посадити, глагола: "Тамо есть высоко, смрад не может ходити"...

ГИМ, собр. Забелина № 451 л. 856 испр.
по ГИБ, собр. Погодина № 1606

Анна, я не могу без тебя. Мне не с кем говорить. Я только пишу. Но наша родная Валахия будет счастлива.

* * *

I

- Ну продолжайте, пожалуйста, продолжайте!
Кофеёчку?

/За окном тополя, проскальзывает автомобиль с синими фарами. Тени мечутся по стене. Там - гараж. Днём, в ослепительной светотени появляется на помойке лошадь. Живёт в гараже. /А помойка - строительный мусор, кустики.../.

- Не описывайте мне помойку!

- Ладно. Значит, слушай: мальчик и девочка. Пастораль. Ну, что-нибудь такое:

Идут по улице молча, скучают. Потом мальчик говорит: "Поеду в город, найду кого-нибудь на ночь".

Девочка осознаёт себя йони, текущей водой, говорит: "А я тебе нравлюсь?.. У меня те же три дырки". - Плечиком передёргивает. Тут всеобщее замешательство.

Краснеет /как рак, как маков цвет/, ковыряет землю кроссовкой.

Пошли к ней.

Разделись. Мальчик лёг, она сверху, "всеми плодами Венеры раскачивающейся". - Эротическую сцену придумает сам.

Мальчик насладился, целует ей глаза - всё в кайф! Попили кефира с печеньем, уже вечерет. - Так и так! Теперь ты к себе домой, я здесь останусь, утром встретимся.

Никаких вопросов.

Утром встретились.

//Да-да, опять! Нравилось им очень, понял? Описывать не буду.//

И так сутки за сутками.

Тот, естественно, недоумевает - почему ночью нельзя?

/Слушают "Pean of Fantasy", цветочки собирают. Мятлик, тимофеёвка, колокольчики. крашени смотрится оригинально, но не стоит в букетах - сразу вянет. Она по утрам конспектирует: "Малая земля", "Целина", "Возрождение"/.

- Сюжет, сюжет рассказывайте!

- Сейчас расскажу. Но как обойтись без аромата эпохи? Мне важно, что они слушали "Машину времени".

Всё, сокращаю описания:

Девочка - или не знаю уж как назвать - визжит от боли. Экзорцист! .. Утром - вся в кровоподтёках, кожа на животе содрана. Слезы. - .. Маленькая моя, родная! ... бедная моя! Что я с тобой сделал! - утешает.

/Любили они друг друга очень/.

Нервы не выдержали, не смог больше этим заниматься: "Я тебя всякую буду любить!", "что бы с тобой ни случилось!" /днём и ночью/.

Ну, за недельку поджили у девочки ссадины, он готовится морально, раздобыл где-то шпанских мушек.

Опять ночь. "Любить" он пытается. С понтом под зонтом. Таковую, как есть. //Монструозный секс! Описывать не буду - грязно и непристойно. Всё равно, у них ничего не вышло.//

Утром девочка хочет повеситься. Он отговаривает, накачивает её таблетками.

Последняя попытка!

- По-моему, вы что-то упустили, но всё равно, давайте, давайте, рассказывайте...

/Мальчик обложился книгами, травы варит. Пьёт. У девочки крыша едет. Трилогия Л.И.Брежнева законспектирована, лето кончается, скоро в город на учёбу. Он каждое утро появляется с букетом цветов. Любовь!! /сопли в рафинаде/.

* * *

2

Я - буддист и смотрю на окружающий мир с лёгким омерзением. В этой истории моё участие лишь косвенно.

...Мальчик и девочка любили друг друга. Что же, пусть!.. Смешно, но им казалось, что мир - это поцелуй с небольшими перерывами .../говорит с улыбкой/. Изучали свои души и тела, как школьники грамматику иностранного языка. Милые!

Я наблюдал за ними с безопасного расстояния, время от времени балуя себя размышлениями: что и как там происходит. (Ситуация довольно банальная: мальчику нравилось состояние влюблённости само по себе, а девочка любила придуманный ею идеальный образ.)

Иногда, поливая свои карликовые хризантемы, я видел их через ограду – идут счастливые. Потом оказалось, что девочка по ночам превращается в чудовище.

Девочка /нежное имя: Юля? Оля? ...не помню/ – очень стеснялась этой маленькой слабости и долго скрывала, – они встречались только при дневном свете, но однажды, возвращаясь с вечерней прогулки, не смогли распрощаться. Бедные дети! – Никто не объяснил им, что как раз в любви открывается людям ужас иллюзорного мира.

Юля и этот... /совсем не помню/ – не смогли воспринять свою историю как метафору – воспитание ...некоторая заторможенность мышления. Молодым людям следовало бы знать хоть основные принципы дзен...

...У нас осталось не много времени, я не хочу рассказывать дальше этот малоприятный случай. Но – мы можем получить столько блаженства, как если бы наполнили семью сокровищами бесчисленное количество миров. Я прочту вам "Алмазную сутру".. А потом насладимся разбрасыванием цветов.

/Слушатели закрывают блокноты и почтительно склоняют головы.

Далее следует русский текст "Ваджраччхедика-праджняпарамита-сутры"/

* * *

3

"Выбираю и посылаю синим облакам
Один бутон."

Странная аберрация ума – или времени?

Иду от станции Новый Петергоф – через Александрию, блёклое небо над головой – семь часов утра. Я элегантен, у меня букет мелких светлых гвоздик и две с половиной бутылки коньяка.

Воздух холодный, влажный, в 7.15 смогу войти к своей пятнадцатилетней любовнице – сумасшедшей и зеленоглазой.

/Захлёбываясь, лью в глотку коньяк. Газон, кусты, небо: уплывают куда-то вбок. Балансируя на одной ноге, я с трудом сохраняю равновесие. Ещё коньяк – иду по траве./

И тут – мир наклоняется в ладонях богов. С изумлением замечаю зажатое между моими пальцами письмо. Конверт: "250 лет городу Тольятти". Обратный адрес: т/х "Белинский", порт прибытия – Ленинград.

Коньяк дагестанский, семилетний, штампель - 09, сентябрь, три года назад.

- Тебя нет. Тебя нет. - повторяю я.

"Привет, Митя!

Вчера отослала тебе письмо и снова стала переписывать тесты. Я переписывала их с перерывом на ужин и без перерыва на вечере поэзии, на который занесло меня дурным ветром. Вечер был посвящён, как позже оказалось, женщинам. Изредка были неплохие стихи. 3 раза оторвалась от переписывания: 1 раз до начала - спела две песенки: "Раз Простаков" и "Всё отболит", где и сорвала голос, хотя пела тихо (не очень громко, почему-то не могла). 2 раз прочитала Лейкина: "Сударыня - вот королевский шут..." и 3 раз - читала "К...", жалко что не помню "Вот женщина, которой 30 лет". Потом переписывала на верхней палубе, но бросила и стала танцевать, было уже почти II (23), потом зашла в бар, посидела за чашечкой кофе и ещё потанцевала, какую-то остроумную шутку сказал Миша - не помню, но было здорово (точно - экспромт, Миша-бармен - заканчивал филологический).

Потом до полвторого опять переписывала. Потом пошла в каюту, приняла душ, начала лечиться. Болят зубы. Уже стараюсь и не жевать. Скоро есть перестану.

Встала утром, позавтракала, потом была "зелёная" стоянка. Вышла на берег и вдруг увидела, что всё кишит мелкими чёрными муравьями. Волосы встали дыбом, и я сбежала на палубу. Села на средней палубе на солнышко. Только стала загорать как на этой же палубе началась учебная тревога "пожар". Перебралась на верхнюю палубу, через несколько минут началась учебная тревога "пробойна". Все почему-то прибежали сюда, потом убежали, и "человек за бортом" прошёл без моего участия (Ты прочёл статью "Письма к А.Керн"?)

Потом, через полчаса, писала в каюте (тесты), дописала. Час спала, пообедала (проголодалась почему-то).

Вышла на верхнюю палубу, загорала ещё полчаса (кстати, болит "опытный" глаз, по вечерам "ломает", пью "тетрациклин")

Кожа на лице улучшилась. Я поправилась. Внешне выгляжу хорошо.

Вечером вчера всё думала – как мы с тобой встретимся. Скучаю, хочу в Ленинград, в "Сайгон", в садик у "Эльфа", на Неву, на Петропавловку, в Пушкин, но только с тобой. Я без тебя всё равно многого не понимаю. Что мне вся здешняя красота, если ты её не видишь? Я люблю сопереживать, одной мне это не в радость.

После обеда спала до ужина (после "загорания"). Поужинала. Пускала мыльные пузыри на палубе, некоторые помогали. Потом выпила чашечку кофе, купила пачку сигарет, пошла на танцы. Положила сигареты и спички, стала танцевать, а когда спохватилась – их уже не было. Пришлось взять ещё (кстати, у бармена не было 10 коп. сдачи с рубля, мы с ним договорились: за ним два кофе (20 + 20) и пачка сигарет). Сегодня всех (Наташу и её маму) удивляла – подхожу без очереди, беру без денег. Пояснений не давала. После танцев мы с Наташей – 15-летняя полуеврочка, по сложению – взрослая девушка – выходили на палубу со свечой. Играли у неё в какте в дурака: 3:1 в мою пользу, и в "японского" дурака (мы с тобой в него играли в поезде из Москвы, помнишь?): 2:0 в мою. Завтра – будет время – научу их с мамой в "кинга".

Подумала сегодня: кто, кроме людей, умирает от тоски, характерно, естественно ли это? Собаки – те даже болеют людскими болезнями – с этими всё ясно. Ещё лебеди. Значит, привязанность "любовь" "до гроба" существуют не только у людей (как там у дельфинов?) Значит, это всё-таки природное, изначальное, даже инстинктивное – стремление к смерти, если друга больше нет. Где-то что-то срабатывает, и инстинкт самосохранения отключается, да и многие другие инстинкты (голод, половой инст. и др.).

Очень скучаю, надеюсь, ты тоже ждёшь моего возвращения. Спокойной ночи, любимый.

"Ты мой хлеб, моя соль, Моя ты радость и моя ты боль", – слова из песни, которая тут постоянно звучит, так к тебе подходят...

Сегодня прибыли рано утром в Волжский, все ушли на экскурсию – по жаре на автобусах поедут в Волгоград, а теплоход туда прибудет в полчетвёртого. Я осталась тут, загораю, играю в карты.

Уже немножечко загорела, может быть, приеду – будет даже заметно.

Взяла почитать Маркеса "Хроника объявленной смерти".

По радио начали звучать песни, да всё о любви, да такие хорошие слова о любимых. Хочу к тебе, хочу поехать с тобой, пойти пешком, куда угодно, лишь бы вместе, только будь со мной, знай, что я живая, что душа моя ещё долго будет болеть – хочу я того или нет – и каждое слово пренебрежения, неласковый взгляд – как эхо в колодеце умножаются. Может, твои друзья правы – я придаю этому слишком большое значение, но иначе не получается. Я не знаю, как иначе.

Лучше убить, чтобы не заставлять жить поломанного человека – как поломанную игрушку, которую всё ещё заводят, хотя она еле дёргается и скрипит, и скоро её выбросят на помойку.

Сейчас я ещё сломанная, но надеюсь, если ты мне поможешь, всё заживёт; если нет – заржавеет, и всё равно я не выживу.

Чувствуешь – какое долгое эхо?

Прости.

Всё: книги, песни, разговоры людей – напоминает мне о том, что мы не вместе. Комок в горле и слёзы в глазах.

Хоть ничего не делай – только спи. Спи, да ешь, да загорай.

И ещё. Страшно мне будет возвращаться – какой ты меня встретишь?

Эх, если бы ты не обещал мне тогда столько счастья, не сеял надежду и веру – всё тебе отдаю, но не умею видеть, ты же знал, что берёшь.

Совсем я затосковала, наверное, похожа на "скорбящую Божью Матерь" сейчас.

Наш радист меня сегодня фотографировал. (Жду, может, будет снимок).

После обеда отправлю тебе письмо. Обнимаю крепко-крепко. Не забывай (забудешь тут, каждый день почти письма). Целую. Юлия."

Мелькают деревья и безмолвствующие фонтаны, я в Нижнем парке. Всё крутится – карусель, калейдоскоп.

Бутылка пуста, в ладони смятый конверт. Усилием воли оста-
навливаю вращение мира и:

"Мальчик и девочка любили друг друга. Девочка по ночам
/при восточном ветре/ превращалась в лемура. Он узнал, начал
лечить. Не смог.

Смирился, решил "любить", какую есть. Оба не смогли.

Занялся магией, стал таким же, как она. Всё получилось.
Утром стих восточный ветер, она ударила любимого по лицу и
навсегда прогнала.

- Такой подонок мне не нужен.

Конец."

Мимо Большого Каскада влезаю наверх. Неплохо сочинил - земля
не прогибается под ногами как только что. Чёрная сказка рвет надо
мною, заслоняя от действительности, которой нет.

- Нет, нет и нет!

7.15. Мать моей юной рисовальщицы уже ушла, не заперев за
собой дверь. Войти тихо-тихо, раздеться - и в постель. Нюхают
бледные розовые цветы.

/Миша-бармен, Наташа, радист потеряли свою угрожающую реаль-
ность. Но радист! Зачем он фотографировал?

Если появятся снимки, я не сумею защититься и свихнусь./

Я не могу без тебя.

т/х "Белинский" - Караганда - Петергоф
1987 - 1990

Всеволод Зельченко

НОВЫЙ ПИСЬМОВНИК

Deja' Vu

И внезапно наполнит кровь
Напряжение звездных крыл,
Будто вновь посетил, и вновь
Посетил, а глаза открыл -
Никого. Обратясь назад,
Подменённый найдёшь пейзаж:
Птичий рынок, античный сад
И Ривьеры жеманный пляж -
Ведь едва мемуарный род
Обнаружит узор и нрав -
Тут как тут пантеон бород,
Где и Диккенс, и тульский граф.
Ну, довольно, не хнычь, припрячь
Озаренье своё, каприз:
Там вертится печальный мяч,
Убегая по склону вниз,
Там не сходит мороз со щёк,
Там считают вслух до пяти,
Отправляясь искать. Молчок.
В эти комнаты нет пути
Дальше давних плевел, мякин,
Дальше фрейдových Фив, Микен.
Ты не будешь больше таким,
Это значит - больше никем.

Полупамять, как тот сурок,
Бестолково трусит вослед -
Но безжалостен твой урок,
Узнаванья минутный свет!

Погоди, растолкуй, означь -
Корифей покидает хор,
И, однажды подброшен, мяч
Опускается до сих пор.

П.Ш.

Миклухо - Маклай открывает глаза. На песке -
Туземной ноги отпечаток у левого уха.
Он думает: "Вот проявление пытливости духа -
Мы все, как умеем, противимся этой тоске."

Потом на шестом этаже открывают окно,
Впуская военную музыку, лиственный клёкот,
Какие-то речи - а край занавески поблёл от
Активного солнца, и смутно белеет пятно.

В людской толчее, на углу, обернись и замри,
В небесной водице, где облачный срез кучевиден,
Читай письма - их наклонный полёт очевиден
Тебе одному; повторяй за собой - раз-два-три,

Миклухо - Маклай просыпается, точки, тире.
Огромный дикарь, носорога валивший вручную,
Восторженно лжёт цветное пятно в букваре,
И чистые слёзы текут на сорочку ночную -

Отрада науке, едва успевай примечать:
Расчёска чужда им, а штопор - гостинец желанный...
Под утро небритый паломник у зеркала в ванной
На скудных чертах различает избранья печать.

Баллада

1. Зелёным огнём полыхает куст,
Ажурен и влажен лист,
А леди Мэри покоя нет
Четвёртую кряду ночь.
2. Четвёртую Божию ночь, едва
Сойдутся стрелки в часах,
Сэр Джон взбирается под окно
По лесенке приставной.
3. Кухарки в сон, белошвейки в сон.
Сэр Джон в безнадёжный сплин.
"Пойдём со мной, - умоляет он, -
В кустах стоит цепелин,
4. В полях немотствует всякий зверь,
Звезда коротает ночь
За влажным облаком, и никто
Не сможет выследить нас.
5. От лисьих нор, от паучьих гнёзд,
От вересковых пустот
Мы выправим курс на юго-восток,
Чтобы услышать, как
6. Перекликаются корабли,
Идущие к маякам,
А с берега ведьмы морочат их,
И море дрожит во тьме."

7. Но леди Мэри к таким речам
Останется холодна.
"Ступайте прочь", - говорит она.
"*Good night*", - говорит она, -
8. Я лорду-маршалу отдана
И буду ему верна,
Порукой тому - пуританский пыл
Моих семерых сестёр."
9. "Ну что ж, раз так," - говорит сэр Джон.
"Я пас," - говорит сэр Джон.
И в мыльную лавку идёт, едва
Петух выкликает день.
10. И ровно в девять разносчик Том
С газетным листом в руке
Заглянет в окно - а сэр Джон давно
Болтается на крюке.
11. Но ночью снова удар в стекло
И голос: "Пойдём со мной,
Там нету смерти, священник врёт,
Там холодно и светло,
12. Шары, гирлянды и мишура,
Как будто под Рождество
На ёлке, и истинно говорю -
Мы нынче же будем там!
13. Клубится пыль, утихает боль,
Качается колыбель
В густой ночи между двух огней -
Звёзды и свечи твоей.
14. Смотри "*Speak, Memory*". Это срок
Приходит ступить на твердь,
Одной ногой оттолкнув порог,
Другой попирая смерть."

15.
.
.
.

16. Шершав с изнанки ажурный лист,
Зелёным пылает куст,
И чёрный дрозд затевает свист,
Изящен, как Роберт Фрост.

17. Под шорох юбок, под скрип перил,
Под азбуку каблуков
Спускаются к завтраку семь сестёр,
Но нету восьмой меж них.

18. "*We can't believe* !" – говорят они.
И можно держать пари,
Что плотник сломает замок, но ни-
Кого не найдёт внутри.

Ходасевич в Венеции

Это флейты? Я выбрал одну.
Уходите. Оставьте хористок.
Matka Boska, как ранит луну
Этот ангел, железный подросток,
Как течёт и дробится на семь
Отражение камня на камне!
Будем квиты, Симсим -
Тарабарская честь велика мне.

Обернись, я хочу, какова
Увидать - в этом платье, в оплетье
Огуречном, пока жёрнова
Перемелют нам кофе на третье.
Узнаю тебя, звоном щита
Распугав тараканье блаженство -
Но таится тщета
В соразмерности каждого жеста.

Вдалеке, в полумраке по грудь,
В электричке калек с баяном -
Я тебя не встревожу ничуть,
Ни филиппикой, ни покаянным
Шепотком - в сочетанье церквей.
В содержимом разжатой ладони.
В каждой ноте твоей
Вырожденьем напетой латыни.
Я с прикушенной кану губой,
Но разучат охальник и шкодник,
Бонвиван, женолюб, зверобой,
На парнасском пиру второгодник
Этих вод натяженье и ржу,
Эту прихоть лепечущих парок,
Как я после скажу -
Суперприз, небывалый подарок.

Луиза и пирующие

Луиза: Воробышек едва воспет Катуллом –
Сейчас и умер; экая досада.
А день застыл, и ступок тьмы за стулом,
И тени вечеряющего сада
Не двинутся, и на углу дозорный
Поставлен в профиль, траченный заразой.
Вечер зеленщик с площади базарной
Приснился мне; больной и белоглазый,
Он звал меня в свою тележку. Там
Лежали овощи, и лепетали
Суровое, а что – не помню.

Пирующие: Ну же,
Развеселись –

С той поры, как мы порознь, милая Т.,
Здесь по-прежнему ветрено, и варьете
В переулке сияет огнями соблазна –
Что ни вечер, там фокусник празднует блеф,
Не влезает в серсо перекормленный лев,
И певичка фальшивит единообразно.

Приближается время для маленьких мук,
Дневников, для учёта утопленниц-мук
В оранжиде со льдом, достоверности ради.
Наш потрепанный брат на нитье даровит,
И Вийон невпопад обрядить норовит
Бородатого в юбку в известной балладе.

Эти буквы посеи в азиатской ночи,
Где течёт Енисей из варяг в басмачи,
Под сосной, достающей до третьего неба,
И в пучине морской, меж чудовищных рыб,
Перечти и припомни, как давний изгнб
Рукава волновал безнадежного сноба.

Негде шагу ступить, и созвездья не те
С той поры, как протянутых пять в темноте
Не встречают преграды, с той самой, когда ты
Перешла в недомолвки, в крошечные сны –
Эпизод из эпохи персидской войны,
Вереница нулей у затверженной даты.

Отчего Дездемону с раскрашенным ртом
На укромном одре тормозит дядя Том?
Отчего, если музыка в парке, потеря
Ощутимей стократ? Отчего, наконец,
От скворешен и башен железный птенец
Всякий раз опускается точно на темя?

Трижды десять спустя, как спустя рукава
И прабабкин сервиз, нелюдим и вдова
Из толпы обернутся на окрик – но сзади
Что мы сможем увидеть? Горящий Содом?
Или небо в алмазах, порок под судом,
Знаменитую Федру в старинном раскладе?

Тебя, тебя поглотит вечность,
Движения и крыл лишит.

Херасков

Человек на голой земле. На голом,
Предположим, полу. Обожён глаголом,
С перекошенным горлом.

Перепонка радио, звука складки,
Голубой дымок из аптечной склянки.
Реквизит без изнанки.

Он лежит, печалится: "Вот так номер –
Собирался в театр, в кабак, в Житомир,
Присмирел да и помер".

Ни мушиным крылом, ни кротовым лазом,
Ни отменно вогнутым рыбьим глазом
Не похвастает разум –

Всё какая-то мелочь: колки, пружинки,
Философский камень; его прожилки.
Незавидны пожитки,

И не жалко бросить. Так раб Ревекке
Говорил: "Уйдём, и забудь навеки".
Соберутся калеки

Копошиться в белье, караулить запах,
И простучивать ящик, который заперт,
И ослабится Запад,

А Восток плечами пожмёт, в буфете
Стационарном случайно услышав эти
Невесёлые вести.

Исчезает всяк – эскимос, арап ли.
Говоря изящней, мы крупно влипли.
Вот и щедим по капле

Этот тайный трепет, подкожный опыт.
Не погасла спичка, и чай не допит.
Провожатый торопит.

Владимир Симонов

ЧЕЛОВЕК В БЕРЕТЕ

В тесном, скупо освещённом помещении караулки сидели четверо стариков. Как и во всех небольших помещениях с высокими потолками, здесь было неуютно. Свет, падавший от маленькой, похожей на гриб настольной лампы, рождал повсюду густые тени. Они громоздились, как сдвинутая во время ремонта мебель, лежали в неожиданных местах, как переворошённые при обыске и в спешке разложенные по приблизительно своим местам вещи, и каждое движение сидящих тянуло за собой теновой лоскут.

Ночное освещение и ретушь теней делали лица значительнее, интереснее, чем они были днём. Ближе всех к лампе, за столом у окна, сидел начальник караула Мальшев, невысокий, плотный, с выпирающим брюшком. Трудно сказать почему, но любому вошедшему в комнату сразу стало бы ясно, что он здесь главный, старший. Трудно сказать, но, наверное, потому, что так ровно и непреложно высвечивалось его круглое, чуть улыбающееся лицо, склонённое над газетой. Слева виднелось в профиль острое, словно топором вырубленное лицо Кривеленова и его вздыбленный вихор. Кривеленов сидел уйдя в угол огромного, с высокой спинкой дивана и, задрав голову, стеклянно глядел в потолок. В дальнем полутёмном углу того же дивана поблёскивали очки Алексея Евгеньевича. Чёрный берет (уходя на пост, Алексей Евгеньевич сменял его на форменную фуражку) придавал ему учёный и одновременно домашний вид. Между Кривеленовым и начальничьим столом, на котором, помимо лампы, стоял чайник, будильник и молчащий приёмничек Алексея Евгеньевича, примостилась на краешке стула Смирнова, словно готовясь встать и сказать что-то очень важное. Было далеко за полночь, и на улице и в караулке стояла тишина, нарушаемая только отчётливым тиканьем будильника,

Из сборника *"In Memoriam"*.

да иногда тонким храпом из-за перегородки: большая часть комнаты была разгорожена фанерными переборками на клетушки (Малышев называл их "кубриками"), где стояли по два кожаных больничных топчана для ночного отдыха персонала. Но Алексей Евгеньевич знал, что человек за перегородкой не спит. Сам же он давно взял за привычку не ложиться; толком уснуть всё равно не удавалось: мешала одежда, неожиданные движения кого-нибудь из соседей или храп, к которому он никак не мог привыкнуть. Случалось, что все положенные между вахтами два часа он добросовестно и мучительно ворочался с боку на бок, но сознанию было не уйти от назойливого тиканья будильника, и долго ещё после этой тёмной обработки сном всё внутри не могло встать на место. Лишь иногда снились Алексею Евгеньевичу глубокие и чистые, незапоминающиеся сны.

"Да, - сказал Малышев, складывая газету, - а вот нам на фронте ботинки выдавали английские, подковы тяжёлые, у-у!.." "Вот, возьмите газетку," - обратился он к Алексею Евгеньевичу. Тот сложил и передал ему свою: "Да, знаете, ничего, пожалуй, интересного. Как-то всё одно. Вот, разве, на третьей странице..." На улице между тем было намного светлее, чем в помещении. Стояла только середина ноября, но уже выпал снег. Вот и сейчас редкие, крупные хлопья его медленно кружились за белыми решётками окон, и пустынный переулочек наполнился отражённым светом, голубоватым, ровным, ласковым, который не затекал вовнутрь и был похож на свет с рождественской открытки из семейного альбома Алексея Евгеньевича. "Гнут своё, - сказал Малышев и, сложив газету Алексея Евгеньевича, встал. - Так. Пора на проверку". Он вышел, и тишина в комнате сразу изменила своё качество: стали слышны непредвзятые звуки; Крывеленов оторвал взор от потолка и прокашлялся. Алексей Евгеньевич тоже отложил газету и поднялся. Пружины привычно отозвались. Подойдя к столу, он включил приёмник, потрещал им, выключил и, взяв чайник, прошёл в тёмный угол у двери, к раковине. Он уже хотел было открыть кран, как вдруг заметил на полочке над раковиной пузырёк с лекарством. Это была маленькая хитрость Алексея Евгеньевича: в последние годы барахлил желудок, и он начал принимать гомеопатические пилюли - маленькие белые шарики. Их надо было принимать очень часто и строго по расписанию, но память подводила, и Алексей Евгеньевич заранее ставил пузырёк в то место, где - он знал - наткнётся на него в нужное время. Довольный, он высыпал

на ладонь несколько шариков, выплюнул ментоловый леденец (он постоянно сосал их с тех пор, как бросил курить), проглотил одну из пилюль и, наливая воду в чайник, обратился к Смирновой: "Что, Евдокия Андреевна, сегодня ваш кипяtilьник?" Смирнова, словно только и ждала этого, встрепенулась и бабьей, ковыляющей походкой направилась к своему шкафчику. В этот момент за фанерной переборкой послышался шум. Показался человек. Он стоял, застыв, в узком, тёмном проёме как был — встрёпанный, в шинели и носках. "Который час?" — спросил он невыразимым голосом, ни к кому в отдельности не обращаясь. "Два часа третьего," — быстро отозвалась Смирнова. "Марк Оошпович, идите чай пить," — позвал Алексей Евгеньевич, улыбаясь глазами поверх очков. Человек вновь скрылся в темноте кубрика и скоро появился, уже в ботинках.

Алексей Евгеньевич работал в почтамтской охране уже восемь лет. Ему посоветовали и, поразмыслив и даже предварительно съездив взглянуть, как всё это выглядит при ближайшем рассмотрении, он решился. Конечно, как и всякому коренному ленинградцу, ему случалось завезать на почтамт, но теперь он увидел и узнал его по-новому, изнутри, и так же по-новому, как бы изнутри, он увидел и непримечательный переулочек и весьма примечательную арку с часами, показывающими время всех широт. Немаловажно было и то, что работа получалась совсем близко от дома: прямо из парадной на Желябова Алексей Евгеньевич погружался в автобус и через пять минут выходил почти у самого служебного входа. Таким образом ему удавалось сохранять ту оболочку, тот запас домашнего уюта, который большинство успевает растерять по дороге в метро или на пересадках, являясь на службу голым и незащищённым. Парадная Алексея Евгеньевича и правда что была грязновата — холодная петербургская парадная — особенно с тех пор, как старые деревянные почтовые ящики заменили новыми, железными, и каждый день волей-неволей приходилось проходить сквозь эти пугающие пропилеи. Но в квартире, заставленной растениями, с бледно-зелёными гипсовыми скарабейками на письменном столе, царил плавный уют аквариума. При всём том Алексей Евгеньевич вовсе не был каким-то рохлей, домоседом, но пружиной семьи, бесспорно, являлась жена, и таким же пружинистым вырос сын Женья, прошедший обычный путь познания и в последнее время работавший экспертом по дорожным происшествиям. Нет, Алексей Евгеньевич был человеком вполне современным, но хотя ра-

цио и твердило ему (особенно как бывшему архитектору) о преимуществах новостроек, он слишком уж прочно прилепился к своему жизненному углу, и это внутреннее разногласие вызывало в нём удивление, с годами переросшее его самого. И это оно постоянно проступало в его восторженном посасывающем взгляде поверх очков.

"Сквозит, — жаловался Марк Осипович, кутаясь в шинель. — Невозможно спать. Тянет по полу." — "Закрывало бы взял. Преду-преждали," — отозвался Кривеленов. "Закрывало" была шутка — так же, как и "Скороходичева": Кривеленов жил на Скороходова, но всегда говорил "Скороходичева", полагая, что в этих наивных проверках заключена неподвластная времени прелесть. Самой примечательной деталью во внешности Кривеленова был его вихор, отвесным веером торчавший надо лбом, так что, когда он резко снимал фуражку, человек непосвященный мог и испугаться. Кривеленов вообще любил ошарашивать, беззаветно любил жест — шарм и силу отставника. На первом посту он, препоясанный, преграждал дорогу входящим и, с египетской выразительностью (локоть плотно прижат, ладонь перпендикулярно груди), протягивал руку и говорил: "Энь!.." Не узнав однажды Алексея Евгеньевича, заскочившего, было, раз в выходной, он тоже выступил ему навстречу с сакральным восклицанием, но, признав сослуживца, смешался и потом ещё конфузился целую неделю. Кстати, именно первый пост и предстоял сейчас Алексею Евгеньевичу.

Этот пост — проходная — ночью был самым спокойным. Здесь не дуло; любители могли почитать, соснуть или даже покурить, стряхивая пепел и загоняя окурки в пустой коробок. Ненужная вертушка поблёскивала, как деталь детского биллиарда. За входной дверью, запертой на замок и цепочку, чувствовалось приятное соседство неподневольного переулка. Через дорогу был вход в закрытый для публики музей Попова, где находился всего один пост, плотно занятый студентом-консерваторцем. Да старики туда и не рвались. И всё же именно эта запертая дверь на улицу внушала тревогу ("Тьма блазнит," — говорила Смирнова), и часто Алексею Евгеньевичу хотелось отпереть её, выглянуть хоть на минуту и убедиться, что там, действительно, — переулок, небо, музей имени Попова.

Чайник закипел. Марк Осипович положил на общий стол бутерброды с сыром; Кривеленов достал сервелат. Алексей Евгеньевич,

всыпав заварку, открывал консервы Смирновой, и его тень неуклюже горбатилась на стене. Моду на кипяtilьники ввёл Кривеленов: как-то принёс свой первый, маленький, грошовый, но удивить удалось, и все стали постепенно обзаводиться кипяtilьниками, причём скуповатая Смирнова неожиданно перешеголяла всех, приобретя последнюю модель — огромную спираль устрашающего вида: "Пять минут — и готов." "Нет, ужасно сквозит," — не унимался Марк Осипович. Действительно, опасные сквозняки гуляли повсюду, зябли ноги, могло надуть в поясницу (Малышев вырезал себе из старых валенок поножи на ремешках и каждый раз перед началом смены аккуратно прилаживал их, закатав брюки), — и всё же жалобы Марка Осиповича были пустой формальностью. В глубине души Марк Осипович был так одинок и несчастен, что никакая словесная жалоба не могла бы вместить его тоску. Жена его давно умерла, а оба сына, один за другим, отбыли в земли обетованные. Старший работал здесь иглотерапевтом — такой высокий, тихий, вдумчивый мальчик, писавший стихи по-китайски и мечтавший поехать в Антарктиду; но всегда верховодил младший, и так бы и мечтал Аркаша в своей поликлинике об Антарктиде, задумавшись над причудливыми иероглифами, если бы не Мишка... Старик держался только потому, что отныне и впредь навеки оградил себя стеной самого безнадёжного оптимизма. Он воспринимал всё, что происходило с ним и вокруг, радостно, с энтузиазмом, да это и понятно: допусти, согласишься он хоть на мгновение, что в мире где-то что-то не так, и это обязательно привело бы его к убийственному сознанию собственного непоправимого несчастья. Он был симпатичен Алексею Евгеньевичу, они, можно сказать, дружили, часто беседовали, и всякий раз Алексей Евгеньевич чувствовал, как погружается, как уходит всё дальше по извилистому пути в душе Марка Осиповича — пути, которому не было видно конца.

Больше всего Алексей Евгеньевич любил пост номер два. Всего постов было четыре: проходная; пост номер три — в коридоре, по которому провозили из двора мешки с корреспонденцией; номер два — сам двор, и, наконец, четвёртый — самый глухой, куда Смирнова трусила ходить, какая-то пыльная тьмутаракань, где лучше всего было сидеть с закрытыми глазами и где сильнее всего, как длинная ниточка, ощущалось присутствие далёкого Малышева. На третьем посту, в коридоре горел бессонный свет, пахло клеем и на стене висел загляженный до прозрачности плакат: человек, падающий с горы

посылок на окурок. Хлопали распашные двери (это было не очень-то приятно, и Алексей Евгеньевич одно время даже серьёзно подумывал, что бы такое сделать, придумать, чтобы они не так хлопали), мимо проплывал поток посылок, бандеролей, слов, мечущихся или вежливо притихших в темноте конвертов. Кроме дверей, Алексею Евгеньевичу особенно досаждал один парень – волосатый орущий горец. Вечно что-то распевая, он с грохотом катил свою тележку, а когда скрывался за поворотом в конце коридора (там находилось приёмное окно), пение смолкало и слышался такой залиvistый женский смех, что Алексея Евгеньевича не раз одолевало любопытство: подкрасться и заглянуть. Но он боялся, что вдруг увидит там такое, что будет не рассказать даже Марку Осиповичу.

Нет, больше всего он любил пост номер два. Во дворе, у подъездной арки, стояла будка, маленькая, как катапульта, где жить, в общем-то, было невозможно, а только – писать стихи или дремать с открытыми глазами (Мальшев очень ловко, незаметно умел подбегаться сзади), чувствуя радость свободного падения и тепло стоящей в ногах электробатарей. Всё это чем-то напоминало дачу в Колосково. Приезжали и уезжали машины, ругались и шутили шофёры, почтамтские возили взад-вперёд посылки в приспособленных под тележки детских колясках, да пробегала короткими перебежками робкая крыса; но замечательнее всего было под утро, когда небо над облезлыми крышами начинало просыпаться, светясь, и красота этого превращения вкупе с приятным сознанием конца смены делала Алексея Евгеньевича счастливым.

И всё же со вторым постом у него было связано одно нехорошее воспоминание. Он тогда ещё только устроился. Стоял тёплый, тихий, весенний вечер. Было около девяти часов и ещё совсем светло. Алексей Евгеньевич читал газету, как вдруг под аркой послышались непонятные голоса, и во двор вторглась – что было уже совсем возмутительно – шумная, пёстрая толпа. Собственно, их было не так уж много: три – четыре женщины и сопливая ребятня, но явление их было таким шумным и неожиданным, так быстро распространились они по двору, что Алексей Евгеньевич, к тому же ещё не привыкший к своим новым обязанностям, совсем растерялся. С газетой в руках он выскочил из будки и принялся теснить пришельцев обратно, под арку, объясняя, что на территории почтамта категорически не положено, и чувствуя, что его категорически не хотят понимать. Стар-

шая из женщин с необычайной восточной деликатностью стала говорить, что им только нужно забрать ягоды, очень вкусные ягоды, но недолго лежат и завтра совсем нельзя будет кушать. Всё это пахивало какой-то афёрой, но Алексей Евгеньевич незаметно для себя втянулся в разговор, а между тем одна из молодых уже прошмыгнула во двор и, разводя руками, о чём-то говорила с шофёром. "Сейчас вот сниму с поста - и домой," - раздалось сзади, и, не сразу сообразив, Алексей Евгеньевич обернулся и увидел Малышева. Тот стоял, широко расставив ноги, заложив руки за спину и грозно насупившись. (Так же он накричал потом на студента, опоздавшего на смену после праздников: "Вы уволены! Я вас увольняю!" Но студент только хмыкнул, запахнулся во франтовскую шинель и ушёл в свой музей.) Алексей Евгеньевич, никогда в жизни никого не боявшийся и сам никому не внушавший страха, почувствовал, как у него вспотели ладошки. Грузинки же неожиданно преобразились, и было поразительно видеть, как в этих насадках прорезалась вдруг грозная базарность. Но Малышев был власть, и они скоро сникли и, ещё шипя, остывая на ходу, понуро пошли прочь, говоря: "Ты его не трогай, не ругай его, начальник, он хороший человек, нам добро хотел сделать, не ругай..." Алексей Евгеньевич как-то досидел до десяти, а когда с трепетом вернулся в караулку, Малышев, уже, очевидно, всё позабывший, о чём-то шутил со Смирновой.

"Ну хорошо, положим, они даже увеличат пенсии..." - начал Алексей Евгеньевич, но в этот момент с улицы донёсся раскатистый грохот. В эти оттепельные дни то и дело ухали трубы, срывались с крыш сосульки. Вот и сегодня утром, когда Алексей Евгеньевич стоял на остановке, загрохотало сверху, и ледяное бревно, сорвав нижнее колено трубы, рассыпалось леденцовым крошевом, как разбившееся при автомобильной аварии стекло. Алексей Евгеньевич подумал о сыне. "Вот жажнуло," - сказал Крывеленов. "Да, такая погода - и сыро, и ходить страшно..." - "У нас на лестнице генерал жил, - продолжал Крывеленов. - Три войны прошёл, а тоже вот так - жажнуло, и - нету." - "Конечно, нелепая смерть, - согласился Алексей Евгеньевич. - Вообще, такие бывают иногда курьёзы. Вот мой приятель рассказывал..." Долго молчавшая перед тем Смирнова неожиданно перебила его и взволнованно затараторила: "Да, генерала-то не стукнет, скажи-и..." - "Всё бывает, - в свою очередь оборвал её Крывеленов. - Вот так, выйдешь из ресторана, а тебя - хлоп!" Все

приумолкли. "Правду всегда надо говорить - и по-пионерски, и по-христиански, тогда ничего не будет страшно и сыро," - сказал Марк Осипович и глубоко вздохнул. Разговор, перевалив через вздох, продолжался уже на другую тему. Смирнова завела одну из своих бесконечных былей, но её уже никто не слушал, а за окном звонко падали сосульки - продолжался оттепельный артобстрел.

"Да, что-то начальство задерживается, - сказал Алексей Евгеньевич, прерывая очередную паузу, и, словно в ответ на его слова, за дверью раздались шаги, и вошёл улыбающийся Малышев. "На втором был, - оживлённо сообщил он. - Там две машины одна в другую впилились, у-у!.." И, взглянув на ручные часы: "Так, ну собираемся..." Тени пришли в движение. Алексей Евгеньевич сменил берет на фуражку и, встав перед зеркалом, застёгивал шинель. "Чего, модно? - со смешком спросила присоседившаяся Смирнова. - Как сидит-то?" И пихнула его локтём в бок.

ГАМЛЕТ

"Милая матушка, я совершенно не собираюсь с Вами спорить. Напротив, в споре с Вами любое слово становится мне родным и любимым, я люблю это слово, оказанное не в оправдание..."

Нина Ильинична Соколовская была моей первой англичанкой. Мы жили тогда далеко от центра, можно сказать на окраине, у еврейского кладбища; она же — снимала, довольно часто переезжала с места на место, и поэтому расстояние между нами постоянно менялось, хотя для меня это было нечувствительно: оно всегда казалось мне одинаково бесконечным.

Всего её комнат я помню четыре: в Заячьем переулке, на Лиговке, где-то в самом конце Кировского проспекта и четвертую — снова на Лиговке. Вот эти-то две комнаты на Лиговке и слились в памяти, как две маленькие капли в одну — большую, наверное оттого, что обе были одинаково мрачные, зябкие, с одинаково безнадёжным рисунком обоев. Обе помещались как бы в одном и том же доме, полуторазэтажном, освещен, как раскрошившийся зуб, между двух крепких, здоровых соседей. Дом и внутри был какой-то полуторный: из прихожей три полусгнивших ступеньки вели вниз, в кухню с дощатым щелястым полом, где бегали самые настоящие крысы. Жильцов, помимо Нины Ильиничны, было ещё четверо: мерзкая, злая старушонка, вечно торчавшая на кухне и что-то бормотавшая себе под нос; престарелая еврейская чета и их сын Марик. Марик ездил в кресле с двумя большими никелированными колёсами; ноги у него были укутаны тёплым одеялом, словно он замёрз или простудился. Он много читал, тоже брал уроки у Нины Ильиничны и считался первым учеником.

Нина Ильинична сидела напротив узкого, мутно-серого окна, в кресле с высокой спинкой, которое она перевозила с квартиры на квартиру, и куталась в клетчатый плед. "Внимание, пожалуйста," — говорила она и хлопала в ладоши. "Смелее, смелее! И так, маль-

чик сел на лошадь и..." Подбадривая меня, она делала строгое, немножко ужасное лицо, а иногда и действительно сердилась, но, впрочем, всегда быстро шла на мировую. Когда её большие мужские карманные часы, лежавшие в центре стола, показывали конец урока, мы пили чай с каким-нибудь вареньем, и, пока Нина Ильинична и бабушка говорили о чём-нибудь мне непонятном, я разглядывал резьбу на спинке кресла или висевшие по стенам фотографии людей, похожих на Нину Ильиничну. Именно здесь, в одной из этих двух комнат на Лиговке, я получил свою заветную пятёрку с плюсом за интонацию.

На занятия мы ездили по утрам и всегда в какую-нибудь ненастную погоду. Собственно, и занимались мы только осень (и то с середины) и зиму, потому что весной Нина Ильинична заболела, и наши поездки прекращались. Прежде чем отправиться через весь мокрый от дождя или завьюженный город, заботливые бабушкины руки одевали, кутали меня, но я не помню ни бабушки, ни рук, а только одни эти самоодевающиеся вещи: ботинки на шнурках, со множеством дырочек, и свитер: мгновенная темнота, удушье, страх — и вот с облегчением вновь выскакиваешь, всклокоченный, на белый свет. Бабушка как-то удивительно тонко строгала сыр, и получалось очень вкусно. Потом мы садились в автобус, с которого всегда начинался наш путь, а потом — пересадки, пересадки, пересадки...

Однажды, когда мы сошли у Лавры (первую пересадку мы делали у Лавры), я заметил, что вокруг происходит что-то странное. Обычно к этому времени утренний час пик уже кончался, уличная жизнь утихомиривалась. Сегодня (стояла уже весна — в тот год Нина Ильинична чувствовала себя лучше) народу на площади и вокруг всё прибывало. Люди вели себя так, как будто всем им было что-то непонятно, словно они не выучили урока и теперь в растерянности и панике бросаются друг к другу, размахивая руками и пытаясь выяснить, что же было задано. Нежно-асфальтовое небо светлело, расплывалось. Воздух был полон гулким, нечеловеческим голосом, исходящим из всех громкоговорителей. Голос невнятно пытался объяснить что-то и, покрывая всеобщий гвалт, делал его ещё более страшным... В тот день отправился в космос первый советский космонавт Юрий Гагарин.

"Дорогая матушка, я не смею и думать, чтобы Вы простили меня, не смею надеяться на прощение..."

Нина Ильинична умерла от рака лёгких в больнице на Берёзовой Аллее. Ей не делали операцию и до самого конца держали в уверенности, что у неё не на шутку разыгравшийся плеврит.

Стоял роскошный весенний день. Деревья светились жёлто-зелёной листвой. Вода под мостами (за один раз я проехал их больше, чем за все шесть лет вместе взятых) была живой и синей до черноты, отдалённо напоминая бока зеркальных карпов, купленных к воскресному обеду и плескавшихся сейчас в ванной. Всю дорогу (тысяча пересадок!) я брал билет у кондуктора сам.

В больнице было малоллюдно, как во сне или в неких царственных покоях, и вежливость людей в белом тоже напоминала притворную учтивость лукавых царедворцев. Запах, которым было пропитано всё вокруг, даже растения в кадках, предупреждал о смутной опасности. Мы медленно поднялись по широкой лестнице.

Не могу сказать, большая ли была палата и кто в ней ещё с потому что, едва войдя и увидев на кровати в углу Нину Ильиничну, я уже не видел никого и ничего, кроме её глаз. И без того большие и тёмные, они стали ещё огромней и ещё темнее, и, казалось, могли вобрать в себя весь мир. На тумбочке рядом с кроватью стояли чашка с чаем и какие-то лекарства; поблёскивал молнией несессер. Палату то затопляли сумерки, то окатывал безнадежно яркий солнечный майский свет, когда легкомысленное облако проплывало далее.

Мы сели, и бабушка стала говорить с Ниной Ильиничной о чём-то мне непонятном; в разговоре, прерываемом хриплым нутряным кашлем, с обеих сторон то и дело проскальзывало слово "плеврит". "*Yellow, baby*, — услышал я вдруг. — Где это мы опять витаем?" Не знаю, как объяснить, но сочетание переменчивого света, этих отдельно живущих глаз и интонации, с какой были произнесены последние слова, заставило меня понять всё. И тогда я поразился не самому обману, не тому, как это можно так обманывать а тому, как можно так верить, всё зная.

Уходя, мы оставили ей пакет с тёплыми яблоками и влажным печеньем.

"Матушка, она живёт в высоком жёлтом доме, выпавшем из чердачного окна, в первом этаже: на двери — колодка с шестью звонками, но я до сих пор не знаю, какого цвета у неё глаза, потому

что, когда она смотрит на меня, я вижу только её взгляд – прекрасный, как хрустальная грань...”

Об Алике, своём сыне, Нина Ильинична всегда говорила с баушкой шёпотом. Он ни разу не навестил её в больнице и даже не пришёл на похороны.

Последний раз я слышал о нём от родителей.

Был уже поздний вечер, и наша большая квартира (к тому времени мы переехали в центр), готовясь ко сну, распалась на отдельные освещённые островки: что-то достряпывали и домывали на кухне старики; я, притулясь к настольной лампе, штудировал некий учебник, и вдруг раздался звонок в дверь. За мгновение перед этим из ванны вышел отец и, перед тем как направиться в полутёмный уже кабинет (он же – спальня), остановился перед зеркалом в прихожей, обычным своим жестом приглаживая волосы на висках и пристально взглядываясь в своё отражение. Затем защёлкали замки, но никто не входил, и я, оторвавшись от книжки, с каким-то щемящим чувством пытался расслышать хоть слово из разговора, вернее, смутного, переминающегося наброска разговора, происходившего там, в дверях. Приходил Алик – одалживаться (к тому времени он уже давно пил запоем); отец возмущённо отказал и очень любил, при случае, об этом рассказывать. Мать тоже всегда сетовала, что вот, мол, какие были золотые руки, светлая голова, что распределили его не куда-нибудь, а в Гусь-Хрустальный (я помню, как тогда поразила меня внутренняя несовместность этого названия) и что, не пей он так, это было бы выходом при нищенском образе жизни матери...

Видел я его последний раз в Сайгоне, в пасмурный, сутолочный сентябрьский день. Я взял кофе, встал за столик у входа (там всё-таки было чем дышать: бабье лето, духота) и, размешивая сахар и оглядываясь, увидел Алика, которого сразу узнал. Помните: "Художник нарисовал картину, на которой изобразил зайца, волка и лисицу. Ребята, найдите этих зверей на рисунке." Вот именно таким вечно анонимным художником, который сам легко укладывается в шарж, и выглядел Алик: чёрный берет, брюки-дудочки, макинтош. Некий условный художник с лицом Нины Ильиничны. Всё в этом лице было на удивление заострено: острый нос, кадык, тонкие, как бритва, губы, углами торчащие скулы. Оно было удивительно открытым, не глядело на жизнь через щёлку, а – в упор, как в морскую даль, – душевной

судорогой огромных тёмных глаз. Он выглядел бодро и даже как будто помолодел. Я мог, не боясь, разглядывать его из тёмной ниши прошлого. Он был один, но видимо ждал кого-то и постоянно взглядывал на дверь, по-птичьему вскидывая голову.

Художественный беспорядок биографии Алика проявлялся и в том, что он постоянно женился и, прожив со своей избранницей несколько лет, уходил дальше своей немного развинченной походкой по какой-то бесконечной улице, оставив позади люльку с пищущим младенцем. Все его жёны были похожи друг на друга тем, что были совершенно непохожи на Алика — розовые, дебелие, с тусклыми глазами уснувших рыб.

"Милая матушка. Весна, тихое помешательство. Солнце греет, как в детском стишке, и кошки ощущают его тепло каждым волоском своей души. В каждом окошке — девка на корточках, с тряпкой в руках, а я стою, скрестив руки, и прохожие толкают меня со всех сторон..."

Ученики Нины Ильиничны встречались между собой, разумеется, не часто. Иногда такие встречи происходили в прихожей, где тотчас же, несмотря на явное социальное неравенство, становилось шумно, все начинали раскланиваться, звучала английская речь, появлялось смущённое и праздничное чувство общности, интереса, соперничества.

Но в полной мере это чувство воплощалось во время наших *Christmas party* — рождественских вечеров, которые, как то понятно из названия, устраивались примерно за неделю до Нового года. Фотография одного из этих "*party*" (обязательно находился чей-нибудь папаша с фотокамерой) до сих пор стоит у меня перед глазами: вот *Billy*, толстогубый увалень, тихо обожавший всякое игрушечное оружие (в тот раз он играл подгулявшего фермера в скетче о простодушном ковбое); вот две девочки со стрекотинными кисейными крылышками (они занимались средне); вот Серёжа Шлапоберский, тёмноволосый, красивый мальчик с пухлыми, как бы восковыми щеками; а вот, сбоку — печальное лицо Марика, который, правда, не мог сам участвовать в наших пьесках (хотя и читал иногда стихи), но в тот год, поскольку "*party*" происходил у них, на Лиговке, был кем-то вроде постановщика. Тёмные книжные полки, заменявшие

стены, словно раздвинулись; комната стала больше, и не только за счёт этой магии, но и потому, что открыли настежь дверь в коридор и так же настежь – дверь в комнату Нины Ильиничны. Образовалось довольно сложное сценическое пространство, власть над которым взял Марик. Он сидел в углу, в кресле, тихим голосом подавал тонкие, дельные советы, и Нина Ильинична то и дело взглядывала на него с молчаливым удивлением и любовью. Вообще, получился замечательный "party", который и увенчался этой карточкой. Меня, как самого маленького, поставили сзади, на табурет, откуда я на протяжении всей съёмки смертельно боялся упасть. Самым, впрочем, сильным – а главное, постоянным – из детских страхов был мой страх перед валенками: парой больших, старых, чёрных валенок, пахнувших нафталином. Достаточно было поставить их куда-нибудь, и я в ужасе обходил это место. Однажды валенок не оказалось в углу под роялем. Я с радостью, хотя и не без опаски, залез в эту пещеру, как вдруг в комнату вошли. Вошли молча, но по звуку шагов я понял, что это родители, и затаился. Переговариваясь вполголоса, они как-то странно перемещались по комнате, пока – тут я оцепенел – не оказались вплотную к роялю, и я увидел совсем рядом их очень тесно и тихо стоявшие ноги.

"Государыня, мне иногда кажется, что Ваши постоянные хлопоты, уроки с этими милыми и крикливыми зверушками, за которыми будущее, что всё это – муравьиной, бессмысленной природы. Видели ли Вы когда-нибудь вблизи лицо муравья? Я напишу для Вас портрет, обязательно. И если бы не Ваши глаза – ступок духовности, – Ваши глаза, которые не дают мне спать по ночам..."

К тому, последнему, "party" подготовка шла своим чередом. Ближе к двадцать третьему родители стали перезваниваться в самое неурочное время, причём думаю, что во всех домах это происходило одинаково: вдруг сорвавшись с места, бросались к телефону и начинали отчаянно трезвонить, чтобы поделиться, скажем, с мамой *Billy* осенившей их идеей или поразившим их сомнением. Мы же, непосредственные участники и исполнители, как священные жертвенные зверушки, пили, ели и ложились спать в постоянном предощущении заклания. Как и к каждому вечеру, готовились афишки с программой представления. Частью мы рисовали их сами, частью помогал Алик.

И надо было видеть разницу! Нет, не то чтобы мы тут же переставали любить то, что у нас самих получается, но всё-таки наши аккуратны (может быть, слишком аккуратно) сделанные афишки безнадежно меркли рядом с афишками Алика – с такой убийственной, почти оскорбительной лёгкостью были они сделаны.

Устраивать у себя вечер вызвались Шлапоберские, жившие на Халтурина. "Смотри, на улице Халтурина халтурить нельзя," – сказала мне Нина Ильинична во время последнего, репетиционного занятия. Может быть, шутка и была пошловатой, но это было просто от волнения: Нина Ильинична, безусловно, тоже волновалась, хотя как-то иначе, чем мы, более профессионально. Я не удержался, чтобы не проверить эту не до конца понятную мне самому остроту на отце, но он грубо оборвал меня: "Нечего повторять всякие глупости!.."

По городу мело. Правда, мы жили от Халтурина – рукой подать и поэтому пошли пешком. Зимний Летний сад казался огромным снежком с чёрными прожилками. Крупные хлопья снега залепляли глаза, нос, таяли на губах. Зато в квартире – квартире покойного адмирала Шлапоберского – было чрезвычайно жарко. "У нас всегда зимой топят – хоть в трусах ходи... Нет, серьёзно!" – встретила нас в дверях колючая брюнетка Вава Шлапоберская. Всякий раз как она отпускала подобные реплики, её муж, Валентин, невысокий, веснушчатый, с мохнатыми и кустистыми, как у скотч-терьера, бровями, улыбался и потуплял глаза. Было много разной родни; пахло ванилью, тем, что выпекалось в данный момент на кухне, в конце длиннейшего коридора; мерещились ещё какие-то сласти. Поражали очень высокие потолки и очень низкие подоконники, широченные, мраморные, представлявшие идеальные поля для сражений оловянных армий. Приехавшая ещё с утра Нина Ильинична ходила по комнатам без кровинки в лице, подбадривая и отдавая последние распоряжения. Алик, почему-то в берете, спешно домалёвывал картонного кота, необходимого для отрывка из "Тома Сойера". Едва просохший кот был выставлен на всеобщее обозрение: со страшно вздыбленной спиной и кроваво-красным языком, он глядел на нас огромными пустыми бельмами.

"Почему, скажите... почему, скажи, у неё иногда такой детский голос и лицо, как у загнанного в угол, окрысившегося

политикана?.. Почему этот барчук, ну этот, с этими пышными восковыми щеками и тёмненький, – этот барчук, об голову которого пожалуй, не жалко было бы разбить венецианскую вазу, – этот барчук (я сам слышал) перед одной из ваших прелестных буффонад до того перепугался (забыл роль), что стал бормотать (один был в комнате): "Господи, спаси! Господи, помилуй!" – и, открывая свою божественную природу – сделал лужу?.."

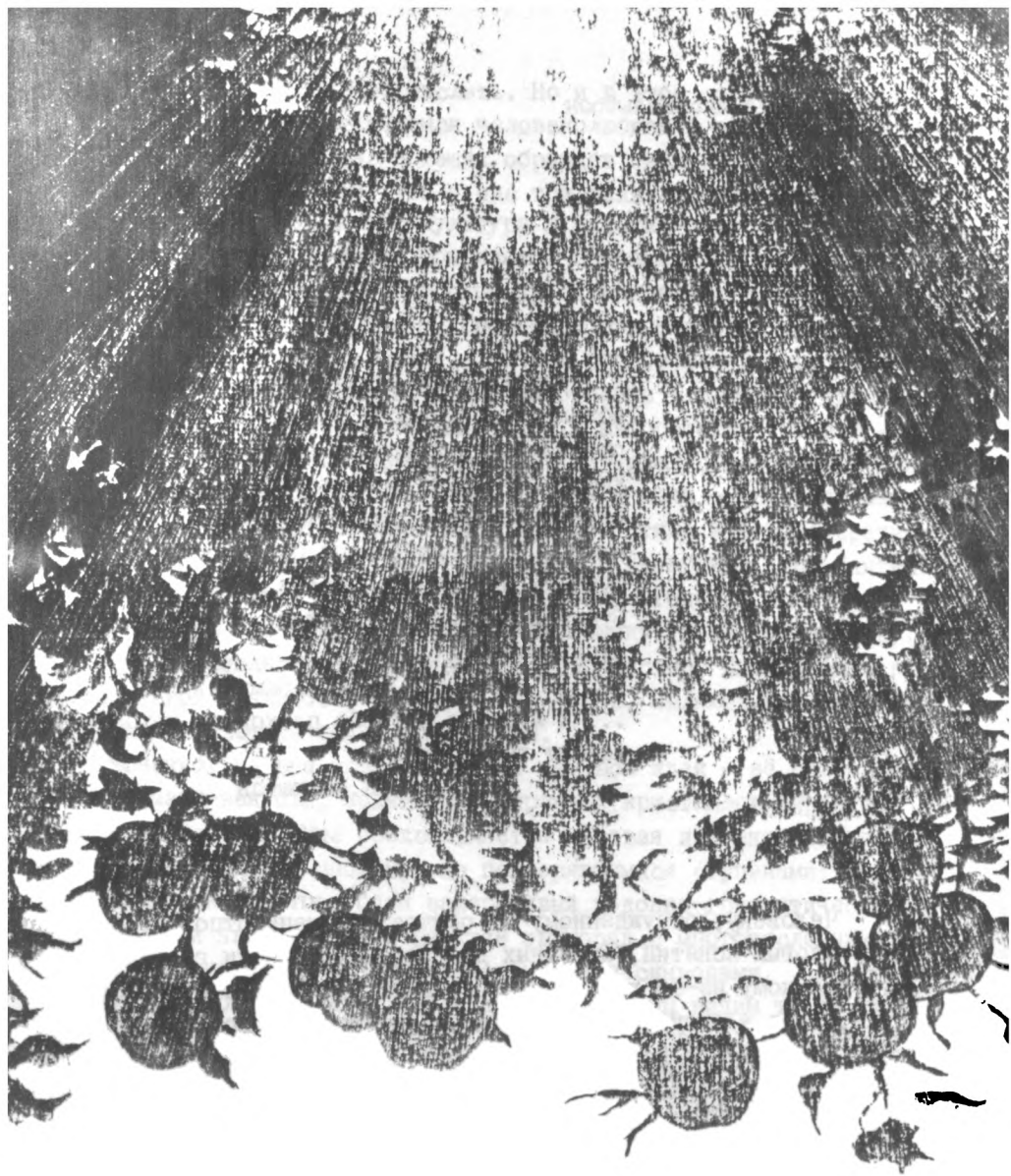
В артистических уборных происходила отчаянная борьба с какими-то тесёмками, резинками; прилаживались последние детали туалета. Мамаши то призывались, то изгонялись; затем призывались вновь. Мальчикам и девочкам отвели по комнате. Когда все уже были окончательно припаражены, приклеены последние усы и хвосты, мы собрались на мужской половине и стали болтать, бессознательно выбирая как можно более нейтральные темы. Вчера по телевизору показывали "Гамлета". Выяснилось, что смотрели все. "Он был хороший, но его убили," – с набитым ртом рассуждала Лена, жуя принесённое контрабандой с кухни. Никто не возражал.

Представление открывалось полькой-мазуркой ("шаг-и! шаг-и!"), которую, в свою очередь, открывал некто пан Карковяк (откуда только он затесался в наш англо-детский мирок?). Важно выступал впереди пан Карковяк, в условном камзоле, с нарисованными усами, под которыми подозрительно угадывался Серёжа Шлапоберский. "Том Сойер" прошёл на ура, а дальше, дальше настала моя очередь выступать с сольным монологом...

"Матушка, мир глядит на меня бессмысленными глазами, и иногда они – прекрасны..."

Словом, "party" удался. А как блаженны эти чай; когда вся ответственность наконец-то спала с плеч. Сонная расслабленность коснулась всех, и даже Серёжа Шлапоберский, словно подтаяв, то и дело припадал к материнскому боку. Успело стемнеть, и, попеременно чувствуя на нёбе то расползающийся приторный вкус кремовой розы, то жгучее прикосновение чая, я глядел в глубокую черноту окон, по краям рамы обметанных снегом. В противовес сиявшей под потолком люстре эта чернота притягивала, ласкала взгляд, как чёрный, влажный от морской воды камушек в яркий солнечный день.

Двустворчатая дверь гостиной, где все сидели за большим чайным столом, была распахнута в темноту коридора, в глубине которого слабо светилась кухня. Вдруг в коридоре что-то загрохотало, одна из дверей (как раз той комнаты, где мы переодевались) резко открылась, и на пороге, выставив одну ногу вперёд и держась за ручку, возник Алик. Его сильно шатало. Застывшее лицо кривилось. Берет сполз набок, и он всё время пытался сдёрнуть его свободной рукой и поклониться. Всеобщее оцепенение длилось несколько секунд. "Нет, но здесь же дети! Валентин!" - вскинулась Вава. Нина Ильинична тенью метнулась в коридор, и - как описать то, что произошло дальше? - они вполголоса, враз заговорили, но слов было не разобрать, и в то же время она, изо всех своих сил, пыталась задвинуть, затолкнуть его обратно в ту темноту, из которой он возник.



гласные и согласные

ПУТЬ...

...завоевания и величие государственное, возвысив дух народа российский, имели счастливое действие и на самый язык его, который, будучи управляем дарованием и вкусом писателя умного, может равняться ныне в силе, красоте и приятности с лучшими языками древности и наших времён. Будущая судьба его зависит от судьбы государства...

Н.М.Карамзин

... И язык-то по себе плоховат, грубёнёк, пахнет татарщиной.

К.Батюшков

* * *

Человеку, отчуждённому от обычаев племени отцов и от первичных родовых понятий, насущных для свободной лепки своей самости; отчуждённому из-за губительного недостатка их в отечественном воздухе, а не в силу ленивости или недаровитости своей натуры, - такому человеку, я полагаю, позволено не чувствовать себя отщепенцем в русской культуре, самой достаточно отщеплённой от культуры мировой...

* * *

Сейчас нам необходима не переоценка ценностей, а переоценка потерь: немногие известные ранее ценности - разбазарены и забыты, создать новые - нет ни сил, ни дара. Мы вынуждены обращаться к достаточно железному XIX веку, раскапывая культурно-стилистичес-

кие традиции – мастерство мыслить. Но и в этом отрезке времени, едва ли обоснованно славящемся человеколюбием и ничтожным соблюдением гражданских прав, – вещей образцов плачевно мало. Очевидно, обусловлено это тем, что у нас три силы, ткущие человеческую жизнь: фольклор–быт, культ–культура и религия–опыт (примитивней: тело, душа, дух) – слишком сопряжены, сращены. Такое проникновение – суть Средневековья. Русское Средневековье тянется уже с тысячелетие, если – не более. Граждане Средневековья одержимы идеей, им и дела нет до мысли – начала формообразующего, – "идея" и "мысль" – понятия семантически разнородные – вороги. "Идея" – начало, замешенное на поклонении чуду и авторитету, "мысль" – вечно искомое, суть творения. Мысль – материал строительный, добротный, тяжело полнокровный; идея – огонь и вода – материя равно бесформенная и смертоносная. Идея диктует стиль и форму: средневековая стилистика строго функциональна и нетерпима, она обдительно – словно страж – опекает границы своего уголья – культурной вотчины. Остаётся повторять, как плакальщику: горе государству, где форма самовластвует безбрежно и повсеместно. Сила идеи – в демонической кичливости и власти над умами, являющимися верными отпрысками культуры–опустошительницы.

Конечно, не все эпохи страдали нарывом идеи – её самовластьем, были времена–вятели, зодчие жизнечуждых кристаллов–кирпичей – ступеней культуры. Мне представляется мировая история в виде бесконечной лестницы с многократно повторяющимися ступенями: от нас до патриархов–праотцев один велеречивый водопад грамматических форм, имён и явлений, один ревущий звукоряд с многочисленными длиннотами, устойчивыми звукосочетаниями и синкопами.

И тем отраднее, что, глядя в грядущее, мы видим те же творения и руины, что и в прошлом, – безразлично, какое направление придадим соборному комку энергетической поэтической материи, имеющему "настоящим", чтобы, развернув его, получить звукокрасочный ряд событий–метафор – повествовательно разговорную видимую ткань, ткань–лестницу. Возможно, как всякая метафора, такое понимание истории незаконно, – страдает избытком неестественности, но у нас иного понятия о существовании в мире, помимо сравнительного, нет. Жизнь живого – одно, синтезированное из многих сравнение, вылепленное литературой, – иначе, языком. Таким образом, народ с патриархальным, многоопытным языком, благодаря его смирению, ста-

рению, уходу в разумное рукодельное детство, в наглекший кувалдный дадаизм, сам также стареет физиологически, впадает в младенчество, в колыбель, стремится сойти на нет, в пустрый лепет, в кроткий звук, в слепок ощущения... Жизнь живого – жизнь материализованного языка.

* * *

Что касается России, то в ней издревле язык (или – письменность) служил подслеповатым поводырём социальной общинной жизни. Издревле – понятие, охватывающее довольно скромный промер линейного времени, в котором умещается Российская империя, – века два-три. Века два-три назад начала складываться иная, чем ранее нация с иной культурой – культурой-парадоксом, – дитём варварских усилий вживить в болотную русскую почву кусты классического европейского прошлого. Произошла казнь, как всякая взаправдашняя казнь, невесомая, невоспетая и с зловещей кислинкой мнимости: казнями были растения-обычаи, посеянные и выращенные поколениями наших допетровских пращуров. Глядя из своего времени, можно лишь смутно увидеть вполне буколическую идиллию тех лет – жатву-казнь: жнецами-хирургами стали блистательные умы-анатомы, палачи-литераторы, живописцы-живодёры. Они кромсали сиротствующее живучее тело старой России по инородному подобию, но явления Буонаротти и да Винчи – русского Ренессанса – не получилось... Прошлое было наново выдуманно: жизнедеятельные первенцы лепили его без оглядки и расторопно, если и озираясь временами, то лишь на купеческий Запад (озираться на него придётся ещё долго), – они вылепили нечто угодливо-уродливо святое в кокошнике и кирзовых сапогах, с плёткой и поднятым двуперстием, с юродивыми, кликушами и дурачками, – они вмиг прилипли по сердцу плеяде полуучек.

Новопридуманная русская тысячелетняя история – лубок, словарный фарс, наложенный грим, – гримаска. Эта гримаска наложена настолько прочно, что и не различишь, что под ней, – всё может быть... Таким образом, наше тысячелетнее время – века два с половиной, вряд ли более, нынешнее тысячелетнее прошлое лишь версия, теорема, сработанная – удачно или нет, не нам судить – в это краткое лишнее время.

Сработана она была, очевидно, русской литературой, гордящейся своей функцией – сотворить империю-миф, империю-комедию, царство литературное. Литература – учительская указка, и кнут, и пряник... Самый увесистый филологический камень в фасад литературной российской империи заложил Пушкин, – и свободо- инако- светло-мыслие дворянства, и тайно-полицеское криводушие, и уход к отцам-пустынникам – путь, неоднократно пройденный человеком, признавшим формотворческое непостоянство российской государственности. Подчиняясь ей, человек должен себя осознать кем-нибудь: борцом, рабом, зрителем, правителем – всё равно: таковы правила игры... Принимая их, он становится волом литературы, диктующей формы государственности...

* * *

Гоголь, изучая небо, базилики и виноград Италии, усмотрел в них лишь украинско-половецкую ночь – стель, помещиков в кибитках-коробочках и среднерусское обман-рабство, рабство, замешенное на неутолимой тяге к избалованному произволу, анархии, разбою. Гоголь явил России помещика и чиновника: до него Государства-Департамента (с большой буквы) – не было; свою соподчинённость диктату этого Департамента усвоил каждый – так младенец, усвоивший двухмерные плоскости колыбели, бережно – свыше – поднимаем на ноги, и, сообразуя вертикальную посадку своего мыслящего позвоночника со стрельчатой вертикальностью обступающей его утвари, впервые постигает трёхмерность мира. Так люди, заворожённые стилистикой Гоголя (а стилистика мастера создаёт-содержит свёрнутую строительную энергию), – так после Гоголя люди осознают себя в государстве-истории несколько иного юридически-химического замеса, чем это было – до него. То же и с Достоевским. Так называемая русская интеллигенция с её баловством за трактирной стойкой и усидчивым покаянием где-нибудь, где не следует и не вовремя, – выведена Достоевским в косноязычной колбе его романов и фурий разметалась по всей России: домовые – домашние бесы закружились, разыгрались, разбросались бомбами... Революционная сонатина рубежа веков – эпилептическое видение мастера-прозорливца, разыгранное в материи его персонифицированными отпрысками: ставрогинскими, верховенскими, карамазовыми.

Литературой были вылеплены три сословия; она явила общественную иерархию, каноническую оценочность взамен свободного эллинистического движения общественной материи — движения ради движения. Наша история — лишь броуновское движение толпы в парадном подъезде словесности.

* * *

Мудрые русские писатели — Тургенев, Гончаров, Короленко и другие — трудясь над рукотворным материалом социума, старательно дробили этот материал выпуклыми выдумками о неминуемых размолвках: между человеком и обществом, обществом и государством, государством и человеком. И люди охотно — по горло — нагружались навязанными им противоречиями — словесным скарбом — и скорбели от них и по ним. Не скажу — плохо это или нет: это есть; в Европе рабовладение над гражданами не чисто имперское, а литературное господствовало гораздо умеренней, господствовало дельно и домовито, хотя в начале века много щекотливого интима-любви, чем Кнут Гамсун или Обри Бердслей, почти никто не ведал. В России бердслеевщина, обручённая со смердяковщиной так же, как риторическая смерть обручена с крестительницей-косой, довела жизнь до рассудочного абсурда, когда слово стало числом, означающим внутреннюю меру дионисийства, расхристанности.

* * *

Тем отрадней приметить поэтов, выпадающих из подневольной цепочки миродержцев-устроителей русской истории, — тех, кто пригубил кленовый воздух туманного Альбиона или певчую пыль со склонов Пиэрии и кому не хватило духа вернуться в родимые болота. Удел их во многом благодатней и честней участи тех, кто вдохнул ямбическое вино с холмов Шампани или Тосканы и всё же осел на плахи-просторы русского пространства-времени: так вернулись Гоголь, Блок, Мандельштам... Литературным невозвращением был Вагинов, особенно — Батюшков, — его скворешник-просодия — своеобразная флуктуация в гармоническом и звуковом рельефе русской поэзии. Батюшков не был песнопевцем-соловьём по званию или обязанности — перед обществом ли, перед Богом, или перед самим собой — безразлично: он был им по праву естества — мудрец-трех, безусловно при-

нимающий предопределённость – владычество прядильщиц – и чуть посмеивающийся над христианской свободой воли: какая там свобода, когда все права, перепавшие от жизни, – лишь неравномерно-уязвимая хромотца ямбического триметра да усыхающий глас плакальщицы-Гальционы. В то время как другие поэты толкли и ворочали под щёлкающим языком поэтический сырьевой материал – словесный замес империи, чтобы утвердить свою свободу её сотворения, Батюшков в статьях-стенаниях уговаривал подчиниться языку, стать его колено-преклоненным орудием, его подмастерьем – ими были Петрарка, Аристо, Тассо...

... Между тем выковывался язык-орудие, общество становилось его функциональным придатком, помаленьку утвердилось самовластье творца над творением. Неумолимым оружейником был Пушкин – Аристотель русской поэзии: как суховатый грек сковал для европейцев оковы – форму мысли о философии, так и русско-арапский гений-аристократ (зубоскалящий – "я мещанин") облачил русскую поэзию в нарядную, просторную, добротную форму – она была настолько хороша и легка, изящна, благостна, что никто и не заметил, как она превратилась в подобье застенка, оков.

Последующие ревнители пушкинской формы только усугубляли, огрубляли линейную иерархию: творец – творенье – общество, иначе, пророк – государство – народ. Все трое – притворщики – себялюбиво не терпят – ненавидят друг друга: пророк побиваем камнями, государство побиваемо булыжниками, народ безмолвствует и жуёт сам себя.

В начале XX века попытки восстать, освободиться от кропотливо навязанной формы, впасть в миротворческий кубизм – геометрию смысла – успеха почти не имели... Оставалось – отстраниться: пусть забросают камнями, пусть заберут, упекут – хоть куда – равно всё: оправдано и даровито лишь безоглядное – как в омут – экстатическое преклонение перед античной ясновидящей всеядностью – повиновение одному Богу – Языку.

* * *

Далеко зашёл в своём католически-ревностном послушании Языку Чаадаев: он не плотничал полногласно, сколачивая Россию из кувалдных досок – тропов-метафор; нет, всплакнув в первом письме о её

безрадостной участи, о её генетической дурости, он более не упоминал её вообще – он вылепил лакуну, внутри неё и звенела свирелью-светляком его мысль о России, его России.

* * *

Цель творчества – создание лакуны, природа которой тварна. Из фонетически и грамматически неупорядоченного сырья – самоорганизующейся при говорении речи – строится широкооградная сфера. Внутри неё и находится примитивно называемый "свой мир художника", иначе, его творящий голос. Пространство этой умопостигаемой сферы не имеет конкретной размерности, его измерение зависит от названия: давая имя предмету – узнаёшь его единоличное измерение; ландшафт сказанной сферы населён утварью того измерения, которое органично творящему глазу.

Поэтическая материя, образующая сферу, текуча и двойственна: она то распадается на частицы, то обратно движется, образуя смысловую ткань, – одно понятие сталкивается–смыкается с другими, как язык с небом. Сфера эта бесконечно мала или одновременно бесконечно велика – безразмерна: в неё, как в клетку, могут быть посажены и песчинка, и русское государство – всё наделено равными правами для переменчивого бытия. Там господствует антидарвинизм: при эволюции поэтической материи выживают наиболее слабые – сырые её частицы, чтобы обратить речь к синкретической невнятице, к неувязистой зауми, к словарной глине. Как всё живое, поэтическая материя смертна и смертоносна (ведь смерть – также лишь движение) – она не знает только покоя–совершенства, т.е. Цели.

Говоря о Цели: ведь мимика губ, выговаривающих, допустим, скорбь, на вид неоправданна – для выражения этого состояния достаточно одного скупого знака–символа: он самодостаточек, но внутренне лжив. В процессе говорения разворачивается шатёр патриарха с неприятным скарбом, с гуртом живности: мурлыкающей, блеющей, хныкающей, и с обязательным одомашненным божком–идолом – именно тем информативным знаком. Сладость творчества – пьяная радость черноработника, озабоченного стряпаньем, обшивкой и обивкой шатра вождю – народу – для любовных и гражданских забав. Творец – Анакреонт говорения.

Но анакреонтические шалости далеко не безвинны: оратор, сладкопеснопевец, говорун может заговориться – возникнет заговор; заговорщики, как известно, побратимы оружейникам, – и в мгновение ока страна затоварена крылатым топотом крови и обморочным бормотанием разыгравшейся толпы. Заговор авторитарен: как всякое творение, он прежде всего обуздывает своего творца-говоруна, ревниво зажимая ему рот. Так же вели себя и революции – обе – 17 года: они были лишь полузаклчительным актом трагедии-сатиры; полузаклчительным – потому, что должного финала – не получилось, ведь автор погиб во временном литературном театре... Гибель драматурга во время действия в ковчеге театра оборачивается тем, что театр теперь сам выводит свой зубастый мотив, будучи в беспрестанной оппозиции к тирану – сценаристу грядущему, норовисто не подчиняясь его стилистической дудке. Литературная смерть трагика – потеря своего словопослушного хора; его потеряли Зошенко, Бабель, Ремизов, Пастернак и многие, многие... Хор сгинул, мелос рассыпался на словопреступный ропот толпы и близорукое зуденье беспомощного голоса.

XX век – склочное зрелище биологического отмирания олитературенной российской империи, отпадения местной жизни от литературной указки. Сгинула – с лица России – литературная империя. Век её был краток, но поучителен.

Очевидно, всякий организм терпит бесконечное становление в двух фазах – формах времени – фазе рождения и фазе умиранья: стык этих двух фаз – условие для справления упорядоченного праздника – творческого акта. Самодостаточно творить можно только в эпоху синтеза; ей нельзя дать имя, она – как палитра-красительница ненаписанных картин – не приемлет какой бы то ни было конкретизации, будь то название общественного уклада или гносеологического учения – все названные частицы слиты воедино в одно симфоническое ядро-бурю.

Общее отречение от стыка фаз грозит впадением в ребяческую статуйтарную структуру, либо в либеральное рабство середины XIX века, либо – в тираническую демократию середины XX. Исторический опыт подсказывает, что самый ущербный и нелепый государственный строй, непригодный для свободного роста мысли – демократический. Чудный пример тоталитарной демократии мы видим в ленинско-сталинской России – народовластие довлеет свободе эстетического выбора.

Суть сталинского плембса такова: каждый волен предать другого на поруганье – в органы – в застенки и быть обоюдно преданным – туда же: несколько вывернутая наизнанку державинская христологическая двойня: "я раб, я царь..." И творец в это время не творит; он делает математически точные – невесомые – ходы (отсюда повальное увлечение гуманитариев XX века математизацией культуры) для уяснения пропорций своей особи в пантеистическом пространстве: "царь–раб", и, уваливая от тягот демократии, он предпочитает жертвенно рядиться в скучную личину особи–раба, нежели почтить неслиянность и нераздельность этих двух понятий: царь–раб, раб–царь – не всё ли равно – червь–кропатель.

Никто – почти – из русских творцов XX века услышан – прочтён не был: они трудились над материалом заведомо органически мёртвым – отщепенцем–обществом, увязшим в голубомундирных покаях баблонницы демократии. Уход в демократию означает гибель народоцелостности, вернее, его заносчивое обмирщение в столичности.

* * *

К концу века мы впали в столичность, сходную с разбалованной столичностью Александрии; различие – то было в невинном отрочестве человечества, мы сейчас – в пору униженной старости.

Что же такое столичность? Это – размыв сословий, это – беспрестанные метаморфозы законопокорного bestiaria–табуна, именуемого социумом. Столичность – стойкая безграмотность, возведённая в добродетель; физиологическая непригодность к труду, будь то штудирование многих языков или обработка пашни. Это – вытеснение ристалищного общения – хитроумного диспута–диалога: сатирического, любовного, тринитарного, – со–общением, препирательством, сварой, – грехопадением человека в нетерпимость, в глухоту. Столичность – забывание старого, атрофирование нового; всеобщая подобострастная тяга к площадной учёности, к акробатической эрудиции.

Это – биологическое и культурное вымирание популяции–народа, творцы которого – поэты – опередили свой вторящий хор на много–много временных мер и затерялись в немом будущем, то есть разучились творить – воровать время.

* * *

Акт творчества – апофеоз воровства. Воруют все: воруют поэтический материал – словесный сор, – кто чуть-чуть, кто аршином, чтобы скроить из него желанную мысль, а мысль – это форма (обратное неверно). Важен размах, ухарство, удаль, непритязательность в средствах – и сработан том-архитектон, каждый элемент которого сворован – по нитке – у достойных предшественников, – статистический закон литературной эволюции. Выгода этого закона по сравнению с дарвиновским, поступательным, – в том, что нахально и злоумышленно обокраденный предтеча остаётся при своём кровном добре-движимости и имя потерпевшего – обокраденного – столь же славно и ёмко, как и имя вора. Постоянство воровства ("исполнились мои желания. Творец..." – "исполнились твои желанья, пряха") – суть литературной преемственности.

* * *

Заканчивая эти краткие бездоказательные заметки, я хочу всплакнуть о вечно рушащемся и вечно возрастающем уповании на синтез явленного мира, синтез поэтической речи. В наше время столичности (сто – личности) в чести анализ-расщепление, синтеза боятся, как чумы, ведь всякая столичность – болезнь, боязнь замкнутости монады, ухода в себя, в речь... С говорливой улыбкой можно одноголосо позубоскалить о недобрых радостях ухода – устраниения куда-нибудь: в себя, в восточные пределы империи, в плосколесистые каменные степи, к блюдцам озёр-котлованов. Очевидно, уже много тысячелетий творчество – лишь самовольная или принудительная ссылка-уход – в Сибирь или в Румынию, в Архангельск, в жёлтый, большой или публичный дом – безразлично. Человек смеет без усталости говорить только в минуту безотрадного троганья в путь, укладывая пожитки в новую суму и набрасывая дерюгу-плащаницу на плечи. О, как придавливает к мать-сыре этот груз...

Михаил Богатырёв

БЕЗ НАЗВАНИЯ

* * *

Обелиск головы читателя!

Дед мой, Василий Васильевич, попутал с тобой говяжий рубец и до-олго ещё после сам себе за то выговаривал в сообществе шей да косушки. Постные получились ши, да и собеседничек липовым оказался: как его к столу ни прилаживай, всё норовит щекой в венигрет завалиться: кренится, кренится _ нет больше мочи!

Потому что, может быть, при Василье Васильевиче с о в р е м е н - н о с т ь была, а нынче её нет.

А, ну их к ляду! - бес лукавый попутал: весь-то Божий день кеглями костяными стучал у пивной, сбивая д е д у ш к у с толку! Сейчас добрый старец подвывает котомку к плечу и снесёт тебя, ч и т а т е л ь , в торговый ряд: поминай как звали!

... Кавычками брови сложив, на читателя смотря:
актёр местных театров Дармъяго Кузьмич Речечеев...

... а с ним - молодёжь /сувернирно-сюпризное нечто - в глазах, целлулоид - подмышкой/...

Впрочем, больше никто и не смотрит, да и на молодёжь-то Василий Васильич надеется зря.

Не купят тебя, ч и т а т е л ь !

Купили коробку какую-то (дед всё заглядывал внутрь и дивился: ведь вместо обещанной тысячи папирос, что на крышке означена маркою "М.Достоевский. - с сюрпризом.", там книга лежала "К ВОПРОСУ ОБ ИЗБИЕНИИ ЖЕНЩИН"/.

- Позвольте, а к т о же читать-то будет? - ерепенится дед. - Читатель-то - вот он, весь - у меня, в о б е л и с к а х !
Застучал чёрт костяными шарами, а покушник даже и не оглянулся. Ушёл с молодёжью.

Составление: "Сумерки".

- Книга эта парням - приезжим нужна, - объясняют Василью Васильевичу. - Приезжих-то в городе развелось во-о-на сколько! Они на работу устроились, жить им - негде. Значит: жениться надо, да так, чтоб жильё при жене было! Дело, оно, конечно, постыдное, что и говорить: вот они и побаяваются маленько, как бы с такого-то со стыда руку к женщине раньше времени не приложить, НЕ ПОДНЯТЬ, то есть. Тут ведь, дедушка, конфуз может выйти: и с жильём, и с работой...

- Осторожничают, значит? - догадался Василий Васильич.

- По-взрослому, по-семейному, - поддакнул Дармьяго Кузьмич Речеев. "Вот, значит, оно, что..." - думал дед по дороге домой. Хотелось помочь бедным людям советом не изречённым. Себя вспоминал, и мытарства, и всякие закуты, где ютился, и дети: пошли, пошли на ум, все в чулочках да чепчиках, - и с ними любезничал он, и: с женой /которую бил и которой не помнил мал при жизни, а потому: путал её нынче с детьми/: мысленно!

И после, у зеркала, развязывая постромки котомки, в которой покоилась злополучная голова-обелиске, и ещё позже, когда, разбрызгивая чернила, пытался - впервые в жизни - поверить бумаге некоторые свои соображенья, -

— не мог дед отделаться от удивлённого: "Вот, значит, оно что..." Не уходило из головы.

ИЗМЕНЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ

Чёрт стучал костяными шарами для кеглей, а Василий Васильевич прежде всего искал, как бы определиться в корявом ажуре письменности, исходящей из-под руки на страницу.

БУКОВИЦА,

БУКОВО,

БУКВА, - записывал он, ещё не смея приблизиться к заданной теме, и горестно добавлял: "Всё везде для меня неудобно". Становилось как-то не по-себе; натуральной же речи не было вовсе. То вдруг вспомнит Василий Васильич, как шурится Речеев: мастерски Лениниана подхватченности на лице!

Чёрт опять застучал в костяные кегли, да так споро, как, пожалуй, и стенографистка не сможет, - а Василий Васильич,

шептательно вторя ему, многократно сказал: "Нехочу́ка - хочу́ка"
И стёрся прищур, и сошло с лица выражение ума.

"чу́ка..." - остаточно произнёс Василий Васильич, стараясь припомнить же ну, и — /смахивая слезу умиления/ —

— снова прищурился, потому как заметил за собою записывающее движение в б у м а г а х .

Тут же потерялся /"п е р е с т а л в и д е т ь с е б я ..."/
Понимал, однако, что "Васильем Васильичем" на бумагу себя выводить - всё равно, что с г л а з и т ь ; здесь, так сказать, шифр нужен! "Сокроюсь под "Нехочу́кой", - подумал Василий Васильич. Тем временем постучали в окно.

Схоронясь шутки ради за ставней, стучался Дармъяго Кузьмич.
Да, да, разлюбезный читатель, не складывай брови в кавычки! Притворное лицезрение книги "О ЖЕНЩИНАХ" навело предприимчивого актёра на мысль о твоей г о л о в е . "Куплю обелиск, - размышлял Речечёев, - ведь д е д у ш к а отдаст за бесценнок!"

Но д е д у ш к а замахал руками: мол, всему своё время!
Обманувшийся Дармъяго Кузьмич уходил палисадом, червонец же на свет им картинно просматривался: для соблазна. Подхватит Василий Васильевич Лениниану лицом, или нет?
... Уж больно ты неподкупен, читатель!

/.../

Василий Васильич собрался с духом и записал:

ПОЧЕМУ ВИНОВАТ НЕХОЧУКА?

слаб из-за неправильного поведения

ВЕРНУЛСЯ С РАБОТЫ БЕЗ ВСТРЕЧИ /она не встречает/

и еле сдержался, но... смог-таки

/ночью - ПОБИЛ/

ЕСЛИ ВЕДЕШЬ СЕБЯ ХОРОШО

ТО ПОЛУЧАЕШЬ КОНФЕТКУ

/здесь Василий Васильич смахнул слезу
умиления/

... и поглаживанье

ЧУ́КА просится к НЕХОЧУ́КЕ

ОБА ПОНИМАЮТ ВИНУ

На этом месте Василий Васильич отвлёкся, почему-то решив, что надобно полить а н е м о н ы /а вдруг засохнут?/. Дармъяго Кузьмич Речечёев, случившийся о ту пору проездом в с а н я х под

окном, грозился метнуть бильярдным шаром /замахивался, цѣлил, дразнил/.

В местном театре ставили Беккета, и Дармъяго придумал пустить вместо себя в роль говорящий о б е л и с к головы.

Дедушка отошёл от окна д р у г и м человеком. Он достал с полки растрѣпанный томик Некрасова и прочёл первое, что пришло в голову.

ТАМ БИЛИ ЖЕНЩИНУ КНУТОМ

КРЕСТЬЯНКУ МОЛОДУЮ

О, драгоценнейший обелиск читателя! Даром, что ли, дед мой, Василий Васильевич, выговаривал тебе за бестактность п о д о б н о - г о поведения? Молодёжь в торговых рядах всё больше на с к а н - д а л ё з н о е зарится, парни приезжие пользуют женщин в порядке стыда перед жизнью: "А как же иначе?" - недоумевают они.

Кому что за дело до деревянного нетопыря, чьи щѣки изукрашены свѣклой от венигрета?

Правда, приценивался кое-кто: грешным делом, —

— но дедушка отказал.

Учитель чистописания Повивайтис придиричиво о б е л и с к обошёл и по темени стукнул, мол, внешне —

— оно, конечно же, на копилку

похоже, — но где же прорезь?!

Застучал чёрт в костяные кегли, и Василий Васильич свернул свой товар. "Вот и правильно, — приклонился к нему Речечеев. — Нынче Россия Повивайтисов этих: ох, как не любит!"

"Вот, значит, оно ч т о ..." — не по-хорошему прищурился д е - д у ш к а .

ИЗЪЕМЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ

чудилось г о л о в е /.../

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Розанов как Введенский

Хармс как Андрей Белый

Ремизов.. как Добычин

а также

Рукописи Павла Фенёва,

никому не известного

кочегара /1990 год/.

* * *

Маленькие литературные миры — это смерть разума, вернее, почти что смерть.

В нас есть что-то общее и с литературой, и со слепым разумом жизни... подобно тому, как материя состоит из корпускул, мы состоим из слов, из сверкающих слов...

Если из сундука фокусника выбросить содержимое, сундук станет похожим на гроб.

Если из метрической завязи стихотворчества прорастает прозаический мир, то он, конечно же, обладает эпитетами "маленький... литературный".

Здесь плодоносит только самосознание черновиков...

Вот так фокус! В полотнах Арчибольдо куда-то пропали фрукты, овощи и цветы...

... Нет, мы, конечно, у д у ш л и в ы е миры, но то, что из нас испарилось, имело отношение к дыханию...

Если лицо спящего засыпает ворохом гербария, он, может быть, заедет в маленькие миры Кандинского, вспоминая их как здания своего детства.

"Минотавр! Минотавр! Самопоглощение в лабиринте!" — шелестели губы на червяках разнообразных фраз.

Материя мысли состоит из корысти "понравиться" своему демиургу.

У меня в жизни нет ничего, кроме маленьких литературных миров.

Но это уже своего рода снобизм.

Не всякий из тех, кто носит на себе кожу да кости, способен осуществить постановку одной — единственной фразы в театре сознания.

Осуждение поэтических строк

Язык теперь не нужен. Речь не нужна. Игрушка темы лишилась завода. Персонаж – до сих пор – что делал? – Речь создавал; его реальное существительное было наречием. Что делал он? Какими потёмками обнимал жизнь, флегматичную жизнь жизни? Одно дело: речь, речь, – одно любимое чучело речи, одно замещение на всю событийную соть. Вот и прозвучало из внешнего мрака властное слово "Довольно". Вот и всё. не оборачивайся

что сказано = как сказано

... Теперь разглядывает поступки. В паутинку – щёлочку видно. Поступки, лишённые Вас, ушли. Ушли на прогулку детьми, и сторож, такой же зализанный чем-то неряшливо – голубым, закрыл за ними калитку приюта. Сторож, он сам из сирот. Зачем слова висят, как промокшие варежки, из ледяных рукавов, на резинках?

Вот – поцелуй за придуманное.

Вот – поцелуй за удесятерённое и расширенное.

Вот – поцелуй лести, склеенный из комариного писка.

Поцелуй декана – филолога:

вот Он!

Кто-то – – постарше – – выжал шершавую варежку, и поцелуй лениво, расквашенно схлынули с губ. Дети ушли к заводушненным куполам "Всё равно..." Надо проснуться, чтобы сказать: "Огни на барже мигали" и "всё равно" /с какого причала объявят сон/. Работа вселенной там и остановилась. Гнойник работы, тоскующий по лопате, тебя очыстят руки сирот.

Ты проснёшься (в который раз!), раз-бу-женный пристальным шумом культуры, и что-то нубийское – – ворохом или початком – – раздражённо выскочит в левую дверь мрака. Дети расплющат носы об окна, равнодушно сырея курятником глаз, сырея пещерками носа. У них под глазами – овраги времени, неужели туда всё рухнуло?

Ты проснёшься в последний раз, как желание связи меж названных мыслей. Теперь пора навести порядок, пора отштукатурить бездну посмертности этого мига. Ленивая рать сирени кивнула: "Пора". И ты проснёшься телеграфным пунктиром, чтоб перечёркивать предыдущее, "но", поскольку будущее теперь однообразно опровергает одно и то же, междометие "но" растянется на века. Ленивая рать сирени шепнёт: "потому что",

и - кусками родительских тел содрогнутся пещеры ноздрей. Воображая друг друга, спящие дети затеют немую игру, переключку - - теперь - кто-то - "волосы", кто-то - "гортань", кто-то - "ногти", тей, тей!.. Так поступки, лишившись названий, хотят исходить из себя; так, лишившись здравого смысла, сознание либо молчит в телефонную трубку на проводе организма, либо в ответ повторяет слова абонента. Вот - поцелуй за то, что тебя невозможно узнать.

Вот - поцелуй щёлками непонимания.

Вот - поцелуй, который лишает детства, потому что его изнанка рас-
травлена в немоте всех нас.

Заводная курочка темы склевала то, что ей не положено и превратилась в курочку мести. Однажды решившись на неразглашение, надо мужественно решить вопрос подобия миру не в пользу мира, ... только уже неясно, почему сироты упали зерном равнодушия, почему заводная игрушка восстала до облаков и отказалась клевать слово "мир"? Слово - мир - - в отказе от употребления себя; ты, наверное, хочешь шептать его в память? Но оно отхлынуло ворохом слова "зачем", и - - ... сожгли на костре "зачем". Рваные руки огня запихали язык в гортань. Руки дыма свили гнездо рассудку и миру, и волшебю ушли в себя. Месть приятна, как растворившийся рафинад, - - но лишь до тех пор, пока сами предметы - невидимы в склеротической цепкости поцелуя..

Это - скольжение невниманием и невнимательное пробуждение.

Снова, снова вертеться колёсам неинтересной беседы! ... Белка поглядывала на детей вкось /наискось/, заходясь всем телом по длительно - непревзойдённой дуге. Нам стало жалко этой спины, такой же старательной, как укус во что-то невыносимо - скользкое. Место, в которое нас привели, очеловечилось сдержанным ропотом, и воспитатели всё-таки разгласили: "это - сиротские дети". Внешние руки ослабли, а потом приятно заколебали затылки,

Вот! поцелуй взаимной неловкости,

поцелуй прилагательных сил,

поцелуй за то, что есть качество,

полное безымянности.

Теперь ты проснёшься с таким чувством, будто топтал собственную рубашку, которая в это время была на тебе. Неудобные ноги опередили чутьё головы.

Ленивая рать сирени сорвёт поцелуй... Надуманному, и....

и.... всё кончится.

Проснувшись, я первым делом осмотрел ногти: если НОГТИ растут (а они, кажется, отросли за ночь), значит, я еще жив: все в порядке! Траурная кайма - не в счет. Надо бы обкусать НОГТИ в туалете, предварительно вычистив их расщепленной спичкой... но эмаль на зубах изнасилась, к тому же запах паленой кости, возникающий после трения о слоистую хрящевину ногтя, вряд ли доставит мне удовольствие. Поэтому, посетив туалет, я наскоро освежился (пришлось даже покомкать рукой брешину, чтобы не задерживаться), а уже в ванной комнате засел основательно, заложил расщепленными спичками главы из рукописи, подлежащие реконструкции (и несколько спичек автоматически вправил в дупла зубов: для "нервозности")...

... С любовью ощупываю клеенчатую тетрадь. Чего только не отыщешь между страниц, испещренных пометами многолетней правки! Здесь и пряди моих волос, и обгрызанные НОГТИ, булавкой припиленные к строчкам, и салные отпечатки пальцев, как бы ведущие органолептические дебаты в парламенте плоскости текста...

А на обложке я несмыслимой тушью нарисовал РУКОЯТЬ, шарнирами прикрепленную к пузырям букв, так что при известной сноровке можно прочесть и название моего труда: "О дегенеративной метафоре", - называется эта работа.

Где-то за стеной ванной комнаты застрекотала печатная машинка, и я, невольно имитируя закладку бумаги под валик, распотрошил "Беломорину" в пальцах, а затем прочистил уголком мундштука у себя под НОГТЯМИ, чтобы ощущение использованной копировальной бумаги не мешало мне в дальнейшем работать.

"Итак, за работу!" - какими-то особенным, прикрепленным голосом сказал я, ощупывая себя /как во сне/.

Где-то за стеной приглушенно стучал молоток (вероятно, обмотанный тряпками: для уменьшения слышимости). У меня начались обычные в таких случаях спазмы желудка; "Надо торопиться", - сказал я себе, сублимируя драгоценные подступы к органическому катарсису в зуд самовыражения.

"...Следуя термину Казимира Малевича, - записал я, - "туалетность" есть внутреннее феноменальное качество всего, что записано на бумаге... Прочтение же - это "туалетность" в квадрате, иначе пришлось бы считать всякое зарегистрированное слово "чем-то святым", "неизреченным" и недоступным исследованию". И далее:

"Грубо говоря, всякая социальная презентация (а это и есть ТИП формирования культуры) разворачивается в п р о ф а н н ы х смысловых пространствах... и в этом приближении песня "Подмосковные вечера" (К.Ваншенкин - Э.Колмановский), с ее шаманствующей ТЕМПОРАЛЬНОСТЬЮ /не слов даже, а именно: наречий/: "вновь... опять повторится сначала" ничем не разнится с конкретными радостями просвещенного библиофила.

"Ретроспектива коллекционеров безвкусицы, Вагинов и Набоков. - прошелестело в моем затылке, уже не записываясь, и, похоже, моя работа застопорилась, прекратилась.

Вообще-то, записывая что-либо, я сижу, склонясь в три погибели на приступочке ванной комнаты, и (из-за такого положения тела) вскорости начинаю "клевать носом" своим всемирно известными строки.

Ну все: кажется, я действительно УСНУЛ, перешел в сон?

Решительный удар в дверь отогнал вялое сновидение. Я - один, в жарко истопленной ванной комнате, среди матовых заскорузлых ковшников - обгрызанных во сне НОГТЕЙ.

- Пусти, мне надо по своим делам, - заявляет за дверь сорокалетняя СОРОКА летняя, т.е., уборщица помещений вокзала, моя жена

- Ежели что и НАДО, так это - в уборную, - со злостью отвечая я. - А здесь-то что?!

- Нищепанец е...ный! - визгливо кричит жена. Но, чувствуя недейственность такого обращения к ПИСАТЕЛЮ, быстро переходит на иной эмоциональный л а д,

- Я же со свечой сожженной пришла... В доме свет погас... А ты... (здесь она не сдержалась)... ты только и делаешь, что сидишь там, зубами по ЗАУСЕНЦАМ щелкаешь...

- Вся душу мне высвербил, идиот! - снова закричала она, требуя пустить ее ПО СВОИМ ДЕЛАМ.

- Тем-то ты мне и неприятна, - начал было я, но подруги голоса дернулись слишком резко, опрокинув ПЕРЕЧНИЦУ-МАВЗОЛЕЙ взаимоотношений. Защипало в глазах, и я понял, что ПЛАЧУ (заплакал, то есть).

- Тем-то ты мне и неприятна, что не понимаешь простых вещей, - заговорил я сквозь слезы, не выходя из ванной комнаты, -

- вот однажды я ехал в поезде, а двое влюбленных сидели внизу на лавке, держась за руки, и всю ночь шептались друг другу нежности. Что-то нежное, понимаешь, в словах и поступках, и в целом (... словно бы на языке птиц...)...

Под утро она ему и говорит: "Виталий!", а он: "что?", а она уже молча - отмотала от рулона туалетной бумаги, сколько ей нужно, и снова: "виталий!" (дескать, ты не обидишься на меня?). А он возьми, да и отвернись, как бы говоря всем своим видом: "не понял" ... Ну, тут меня такая слеза разобрала, что я аж закашлялся от умиления... /Кстати, пока я рассказывал, слезы высохли./

- Ценное сообщение! - цинично расхохоталась за дверью сорочкалетняя уборщица, моя ЖЕНА. Впрочем, вскоре она затихла (вероятно, ушла на работу)...

"Чертova кукла!", - подумал я. Из-за нее я сгрыз свои ногти до основания, так что в кончиках пальцев уже начинало саднить (как от загноившихся царапин): у меня не осталось ни кусочка свободного рогового вещества для помет в тексте... Вот уж, действительно: чертова кукла!

Неожиданно вспыхнул свет, и я обнаружил себя записывающим в тетради. Вот как это выглядело.

.....

"Молчи! Вчуже воплем не поминай у вагона
явившуюся мне здесь мысленную тень..."

(С.Малларме. XII Слава)

- Скажите, бывали ли вы в Гельсинфорсе?
А чем неприглядна осенних прохожих толпа?
Угадывалось за бровями: о, да, я, конечно, бывал...
Восторги незрелого существа. Осень.
"Каких д в а б и л е т а ?" - в окошечке кассы пляда
недоумений. Возврату не подлежат, завтра, завтра!
И - выбросил ветер в прохожие, мимо павильона метро.
Пусто, пусто.

Жалкое подобие эпилога
(записано на коробке для домино)

"Пора обесточивать кассовые аппараты", - советуются два дружинника со зрителем зала. Люси, естественно, смотрит: в каком бы из автоматов лампочка - так, по-особенному - мигала (иначе билета не выдаст и деньги проглотит). "Анафема", - шепчет себе под нос подметальщица.

/.../

"Маэстро заканчивает свою работу в час ночи" - вдруг выразил всем своим видом вокзальный хлющ. И, дёрнув обеими руками на манер паровоза, зовёт совершать н е п о т р е б н о е .

"Вы - мне?" - не понимает, что ему нужно, Люси.

"На женское дело!" - смеются дружинники, наблюдая за сценой.
Не то, чтобы про себя: громко.

"Да по́лно, по́лно тебе прикладываться к груди—то ладонью, сложенной — э д а к — по—модельному: "в лодочку!" А вдруг, действительно, зачерпнёшь з д е с ь ?"

Пассажир.

Нет, нет, это была ошибка. Вы слышите тусклый подземный голос. "Метро заканчивает... и так далее)". Последний, кого обслуживал эскалатор, взялся руками за отвороты пальто; он смотрит в поверхность: при полуприкрытых глазах, весь белёсый от света.

— На выход! На выход! — жестикулирует служащий

Какое жалкое подобие эпилога!..

А челюсть пригородного состава уже захлопнулась, обрывая "... свою работу в час ночи", произнесённое из метро.

Буфеты уже закрыты, и кресла куда-то вынесли. Сброд кое-где отдыхает на подоконниках. /.../ (донесение в "Станционный журнал")

Мыльные волны пошевельнули окурков в ногах пассажира. "Ночное!" — мелькнуло вместе с приблизительным взором, и — в ответ на "Скажите, бывали ли вы в Гельсингфорсе?" — улыбкой истёр полость рта, успокаиваясь.

"Это — шлюхи. Вокзальные шлюшки..."

Под сгусток пятнадцатилетнего клюва, циничное: "Червячка дядя морщит. Ата́с!.."

А Люси, с нескрываемым ужасом, вся подобравшись, в последний вагон заступила. Ушиблась.

А тот, с эскалатора, как бы "обслуживал" да му и всё, что при ней: через полуприкрытые веки.

"... И медленно перемещался т е м ѝ р — к а м у з распрямявшихся к поезду стержней: звучал за подоткнутой буераком щекой темноты.

Челюсть состава захлопнулась дважды; "мама", — успели шпнуть горизонты, изламываясь под росчерком хокуся, нетленным и резким, как свет семафора..." ("спазмы", органолептический сборник)

Вокзальные виды :
. выдавший узбек вдруг добавился к запаху дыни, и был нестерпим, я, качаясь на дальней скамейке, приличие выражал в полусне, и с к у ш ё н н ы й .

Вот снова, - нервический жест руки, - и тот, белёсый, подехавший в эскалаторе, глядел сквозь Люси непрозрачно, купаясь в своём отраженье.

"На выход! На выход!.."

/.../

Две амфоры перемещений.

Вельвет с потёртостью внутренней части ноги.

Поезд,
. распространяя Люси и узбека, качался вместе с застёжкой в прорези пригородной платформы.

"Фонарь Освещение." - мысленно проверял себя машинист. "Захлопни, пожалуйста, дверь в тамбур!" Помощник согласно кивнул.

Брелок с изображеньем застывшего бурелома покачивался в обороте ключа.

- Н - н^я дэвушка : загляденье, - мрачно сказал узбек, усаживаясь впереди Люси, спиной к ней.

/.../

Люминисцентный и полуприкрытый
белёсый

танцующий энергично в какой-то момент
поскользнувшись на эскалаторе, как на складном метре
однако же не упал, покачнулся
танцует, танцует

Люси. "Молодёжные мысли")

/.../

Транспортный наряд милиции прошёл по вагону из двух человек, и, не захлопывая за собой дверей, безнадежно отстал, отставая от скорости поезда ровно настолько, сколько и требовалось, чтобы отстать от своих отражений, мелькнувших на фонаре...

- Да отстаньте же вы, наконец! - раздражённо сказала Люси́, когда ручка шарманки в пятнадцатый раз совместила остриженность-под-тюбетейку с прорезью каких-то покачиваний, заводя: Н-нёт, нэ дэвушка, э-э...

ЗАГЛЯДЕНЬЕ.

"Скажите, бывали ли вы. в ...?"

(пригородные мысли)

"Сентябрь." - сказал машинист, как бы проверяя себя. И сказал в н и к у д а . Видимость изменилась не в лучшую сторону.
сентябрь девяностого года

/.../

"Там, на вокзале, выходя из метро, я и не думал, что произведу на вас в п е ч а т л е н ь е ", - мечтала Люси (О, он танцевал при прямом туловище и полузакрытых глазах!)

"Крепость Орешек, - сообщил механический голос доброжелателя, - дальше состав не пойдёт". И узбек задержался в вагоне.

/.../

- Вид на жительство? - переспросила Люси участкового. - Не понимаю: ведь здесь у меня никого нет, ни знакомых, ни близких.

"Это - моль, - остро представил себе милицейский. - Женщина особой статьи. Надо бы пристально осмотреть... эту моль".

Но что-то загораживало Люси от света.

Что-то мешало омотреть ей в лицо.

Фонарик :летучая мышь", наскоро прилаженный к потолку станционным рассыльным. грозился потухнуть.

сентябрь девяностого года

Объекты I

I. Экспозиция замкнутой плоскости тела в новых декоративных условиях

Это - вырезанный из старой курортной фотографии контур купальщика. Новое содержание фона: группа прохожих на фоне Исаакиевского собора (открытка 90-х годов).

Особенный интерес представляют для нас границы купальщика, его контур. Это - миллиметровая аура инобытия, столь знакомая по комбинированным съёмкам в кинематографе послевоенных лет. Как бы не сознавая своего перемещения с Черноморского побережья Кавказа, купальщик излучает с поверхности кожи монтажное впечатление "прорези" (оптичность "прорезывания" - несомненна).

Пошевеливаясь на фоне мнимых фруктовых садов как подвижная вкладка в объёмно раскрывающуюся детскую книжку, купальщик находит себя среди одетых по-зимнему ленинградцев и, тем не менее, он сохраняет своё достоинство "отдыхающего" примерно с тем же остервенением, с каким неопытный шахматист разрядник осмысляет ситуацию "пата"...

/пос.Сенной (между Темрюком и Анапой),
июль 1990/

2. Странная арматура

Объект А. Это девять секций центрального отопления, к которым слева подведены две трёхчетвертидюймовых трубы. Справа имеются два медных крана: верхний (перекрученный тряпкой и проволокой) и нижний (по-видимому, протекающий, т.к. под него подставлена площадка из красной фанаторийской глины). Барашек нижнего крана

снабжён биркой, содержащей а) случайный набор цифр: 046 и б) надпись При¹ЕРНО_МОРСКИ_И
Ю Р Ы М , выполненную "угловым", псевдоэллип-
ским шрифтом.

Сверху вся конструкция отграничена подоконником, на котором в случайном порядке размещены:

- а) растрёпанное мочало
- б) склянка без крышки с этикеткой "фтивазид"
- в) лунообразно заплесневевшая монета, оказавшаяся
фальшивым рублём

Объект Б (взгляд перемещается слева направо, минуя выложенный голубым кафелем простенок с двумя наборными - как на веранде - окнами). Это - батарея центрального отопления, состоящая из девяти секций. Трубы к батарее не подведены, поэтому слева (со стороны объекта А) проставлены порывевшие деревянные заглушки. Справа же имеются два медных крана: вверху и внизу, причём к нижнему крану прислонено надтреснутое (40 x 50 см) зеркало, по которому наискось (снизу вверх) написано губной помадой:

" П р и м о р с к и й К р ы м "

На подоконнике, отграничивающем конструкцию сверху, расположены в случайном порядке:

- а) надорванный "лейбл" от джинсов
- б) начатый тюбик зубной пасты с ещё заметными надписями:
- в) бутылка из-под молока, матовая ровно наполовину
- г) том О.Мандельштама (издательство "Мецниеребы"), забытый мною

Объект В (общее впечатление)

"Веранда задумчивости", назвал бы я это место! - воскликнул было автор композиции "странная арматура", - да что-то не сладилось в восклицании... Леня ему было развивать свою мысль в том направлении, из которого она только что бесславно исторглась к предметам, а посему "веранда задумчивости" как-то безопасно сме-

нилась на "миражи задушевности", после чего в титрах сознания наблюдался определённый сбой, выбросивший на поверхность довольно непродолжительного затемнения случайное слово "опратно" и...

... растравивший последующую закулисную тень гризеточным за пахом полуторарублёвых духов "Жасмин"

/общая баня посёлка Сенной. Июль 1990/

3. Миелиновые плантации

"Как известно, миелин - это вещество, из которого формируются оболочки нервных волокон"

(из лекций по физиологии ВЦД)

"Впрочем, у вас есть мозги, - сказал, обращаясь к Элли, Страшила. - А из-за них можно стерпеть кучу неудобств"

("Жёлтый туман" Волкова)

Объект А. ГОСТ 3935-81 Табачная фабрика

им.проф.Смирнова А.И.

сигареты АСТРА

класс третий пустая пачка, лежащая в томе произведений фантаста Беляева и как бы отмечающая слово

"К У К О Л Ь"

Объект Б. Постфонетическое осмысление слова "тулуз-лотрек" автором данного текста. Следующее иностранное слово в цепочке, вероятно, положит начало объединению объектов в серию "Расстройство желудка"

Объект В. Круглая пластмассовая крышка от склянки с таблетками АЛАХОЛА. В крышке - обрывок газетной строчки с ещё хорошо различимым "как мог Страдивари" и 4 виноградные косточки, лежащие поверх обрезка

Объект Г. Миелиновые плантации как они есть

Это три таблицы, составленные по мотивам детских восклицаний в посёлке Сенной (июль 1990 г.) /между Анапой

и Тёмрюком/ над упавшей под стол книгой ЕЛЛИНА-ПЕЛИНА
"Сказки"

таблица а. "НЕМЕДЛЕННО" (а подтекст: Эй, Емеля!)

таблица б. "МЕЛИМЕЛЕИНО" (а подтекст: МЕДЛЕН(блад)Ен

таблица в. "ЭЛЕНИУМ" (а подтекст - старушачье: "ЭУФЕЛИН -то куда
спропастился?")

Дополнение. К "МИЕЛИНОВЫМ плантациям" имеет некоторое отношение и объект "ДЖО ДАССЕН", не включённый (по ряду соображений) в состав основных объектов.

Это - круглый измятый целлулоидный объект голубого цвета, полупрозрачный. По центру объекта мы видим круглое отверстие ($V \approx 0,8$ см) вокруг него - надпись "Кругозор" (гибкие пластинки), а на полях - несколько эмоциональных вкраплений, оставшихся, вероятно, после куриного клюва.

/пос.Сенной. июнь 1990. на свалке рядом с
обёрткой от консервированных сосисок,
маркированной: "произведено в Пекине"/

... В Кане Галилейской был брачный пир, и Иисус был там вместе с учениками своими: избранный среди званных.

Случилось так, что всё вино, припасённое женихом, уже вышло, и architриклий, решив, что вина недостаточно, распорядился принести ещё: он не знал о том, что вина больше нет.

Жених — знал, но сильно смутился: ему не хотелось показаться перед гостями плохим хозяином, к тому же природная нерешительность одолела его, словно бы нащёптывая: "А что, если ты забыл?.. Что, если там и в самом деле осталось две — три меры вина, которых вы не сочли, когда готовились к празднику?.."

Словом, что — то помешало жениху признать перед всеми свой промах, и он удалился в сомнения, всё же надеясь выполнить поручение architриклия.

Иисус тем временем тоже покинул пирующих: незаметно опередив жениха, он спрятался среди каменных водоносов.

Жених подошёл к тому месту и стал поочерёдно заглядывать в каждый сосуд.

Удивительно! Забытого — как ему чудилось — вина на самом — то деле оказалось столь много, что жених оцепенел, как бы не веря своим глазам...

"Как же так, — будет спрашивать он потом у своей матери, которая придёт туда следом за ним, взволнованная долгим отсутствием сына, — у нас есть ещё столько вина, на которое я и не рассчитывал, а вы, мама, ну, хоть бы словом обмолвились!?!"

"Ума не приложу, откуда бы ему взяться здесь, сынок, — со страхом ответит мать, — мне кажется, вчера этого вина вовсе не было..."

"Ах, мама, вечно вы вводите меня в заблуждения, — заметит, наконец, жених, всеми силами сдерживаясь, чтобы не рассмеяться: смех в такую минуту не к лицу семейному человеку. И чтобы улыбка, уже теснящаяся на губах, не успела себя обнаружить, он быстро добавит, обращаясь к служителям:

"Скорей, несите это вино к распорядителю пира. Порадуйте гостей!"

А Иисус всё так же незаметно уйдёт с того места и, проходя мимо зарослей терновника, едва не наступит на распротёртого меж корней человека, кричащего с пьяного сердца одно и то же: "Господи, докажи мне, что Ты существуешь! Дай мне хотя бы одно доказательство, и я уверую т а к , как не верил ещё никто на свете! Господи... Но о чём мне спросить у Тебя?"

"Попроси о том, чтобы у тебя отнялся язык, - посоветует ему Иисус. - Ведь только лишившись языка, ты сможешь с р а н и т ь в тайне Ваше с Господом соприкосновение..."

"Господи, забери мой язык!" - закричит этот человек изменившимся голосом, перебивая Иисуса на полуслове.

"Забери мой язык, - не потому, что я так хочу, но потому что Он так советует!"

"Хитрый человек!" - подумает про себя Иисус.

"З-забери мой ез!.." - воскликнет было человек, лежащий в терновнике, и вдруг прервётся, изобразив испуг на лице своём и приняв вид з а б ы в ш е г о о том, как произносятся звуки.

"Ну что, теперь-то ты веруешь, как хотел?" - участливо спросит у него Иисус, но человек в ответ Ему будет лишь мычать, мотать головой и указывать пальцами во все стороны...*

* Блаженной памяти Дионисий Ареопаг встретит Господа на закате пятого века.

- Ибо что есть зло, как не путь добра, только до сих пор не найденного, - произнесёт Дионисий, притворяясь, что ведёт себя "как ни в чём ни бывало", и осенит себя крестным знамением. Иисус согласится и не согласится одновременно и будет смотреть на представшего перед Ним с убеждённостью и подозрением, не свойственными ни одному из людей.

"Вот, смотри!", - произнесёт, наконец, Иисус и укажет Дионисию на ч е л о в е к а , л и ш ё н н о г о я з ы к а .

"Так что же есть моё молчание: добро или благо?" - задумается было Ареопаг
... а Иисус тем временем сделает брение и положит его в отверстие уста т о г о ч е л о в е к а .

- Говори! - разрешит Иисус, но человек будет по-прежнему мотать головой, упрямо д е л а я в и д , что "сие ему недоступно".

"Да, хорошо! – подтвердит тем временем архитриклиний, пригубив воды, сделавшейся вином, – Слишком даже хорошо для вина, оставленного напоследок!" ... Но ни зардевшийся юноша – жених, ни глубокомысленный патриарх, освятивший похвалу назидательным смыслом, ни кто другой из собравшихся здесь так и не узнает, что это за вино, откуда оно происходит...

И под покровом чудесной тайны продолжится брачный пир – как ни в чём не бывало.

Вот если бы Иисус действовал наперекор исходящей из Него силе и не умел её скрыть, если бы каждое детище Его чудотворчества носило на себе характерный, знакомый нам по некоторым оккультным книгам налёт эпической "откровенности", то есть, если бы всё было так, как это представляет себе человек, буквально понимающий притчу о Брачном Пире, то вода, поданная на столы, оказалась бы не окончательно превратившейся: она лежала бы в чашах отдельно от вина, как бы подтверждая закон:

чудо познаётся
со стороны
несотворённости

Но в чём же тогда смысл тайнства Святого Причастия, Святых Даров? Ведь такое познание лучше назвать "опознанием мёртвого тела", к тому же оно происходит у всех на глазах и угрожает безумием каждому очевидцу события.

"Всё чудесное и могущественное следует изнутри нашей жизни, ни в чём не пересекая её, – внушает Иисус всем собравшимся в декорациях брачного пира после того, как они, даже не распробовав вновь принесённого вина, приступают и требуют, выкрикивая на разные голоса: "Сделай же Своё чудо, как это Ты делаешь в притчах и лжесвидетельствах, ког-

Уязвлённый в самое сердце, замахнётся было Ареопег своим посохом на того человека, но Иисус отведёт его руку.

"Уйдём отсюда, – печально заметит Иисус, весь наполнившись внутренним светом. – Уйдём, ибо человек этот знает своё о себе, как не знаем ни ты, ни Я..."

да рассказываешь о Себе! Или за Тебя это сделают другие?! Сделай Сам, – вот: и жених Тебя просит!!!"

"Чудо – естественно, – продолжает учить Иисус, – и нет на свете такой с и л ы , которая позволила бы совершить е г о как-то иначе: из прихоти или забавы...

И пока вы д о в л е е т е чуду, оно не станет самим собой;

И пока вы довольствуетесь н е с о т в о р ё н н о с т ь ю , другие уже открыли е г о во всём, а вы и не изменились;

Ибо т в о р е н и е познаётся в забвении и неотвратимости, Оно естественно и печально,

Потому что никто на свете не в состоянии приложить к н е - м у своих усилий,

А о н о приложимо ко всем,

Но лишь во вселенском беспамятстве

Передаётся е г о действие и з б р а н н ы м

В виде явного

Незаходимого

Света

И слова

Неизречённого"

"О чём это Он?.. Что Он такое сказал?" – будут спрашивать друг у друга пирующие, и не поймут.

И архитриклиний с деланным безразличием отойдёт от стола, деревянно ступая и деревянно покачивая головой, потому что в уме его вызреют посторонние, лишние голоса, от которых трудно избавиться.

А прорицатели будущего и т е , к т о п р и ш ё л с ю - д а и з д р у г о г о в р е м е н и , будут смотреть друг другу в глаза и намеренно громко шептать, показывая на Иисуса: "Уж не Ямвлих ли э т о ?"

"Я отвлёкся", – послышится грустный, рассеянный голос Господень, и тысячеустое чудище Пира перескажет из уст в уста: "Я – отрёкся, отрёкся..."

И многие уже не захотят узнавать Его, а иные – не смогут; и некоторые из них заплачут во весь голос, а некоторые найдут

Его под чужим именем и утешатся, но лишь те, кто подходил к Нему и ощупывал – как во сне – желая убедиться в живом, наполненном жизнью теле, в том, что этот голос не исходит с а м п о с е б е из пустого, никем не занятого пространства, лишь они и услышали, как возникает мысль: только ради возникновения, и ничто иное не движет ею, ничто не волнует её так, как это: п р о - и с х о ж д е н и е .

"И вышел из нечаянного с в е т а ," – говорил им Иисус.

"Разлившийся надвое медленный свет..."

"И голос, разлившийся надвое голос..."

"Кто слышит, кто помнит?! Господи, они не помнят..."

... А пирующие продолжали плясать и нарочно толкали Его локтями, и даже те, кто ещё совсем недавно кричал: "Сделай же Своё чудо, или покайся о лжесвидетельствах!" – казалось, совсем забыли о Нём, и Иисус отошёл от них, скорбно улыбнувшись.

И когда Господь уходил, напрочь лишившийся рассудка жених забежал вперёд Него

и кривлялся, делая вид, что распахивает в пустоте воображаемую дверь перед долгожданным гостем,

а потом завизжал пронзительным голосом карлика:

"Блудный сын вернулся!! Режьте упитанного тельца!!"

Иисус проходил мимо...

февраль 1987 г.

ЗАЯЦ БЕЛЫЙ. ЗАСЫПАЙ

В длинном нашем коридоре потолок нависал так низко, что до него можно было достать рукой. Гришка утверждал, что, если бы он мог выпрямиться, он пробил бы его макушкой.

Его пролетаешь быстро, раскинув косточки-палочки, стучащие по кафелю, как копытца. Скучаешь по миру совсем по-птичьи: летаешь, летаешь от стены к стене целыми днями. Бьёшься о лестницы, закрытые окна — к открытым даже не подпускают. А лучше не смотреть. Старик Савельев говорит: "Это не для нас", когда рассказываешь ему про красное солнце. А оно висит как-то зловеще низко. Перестаёшь замечать смену погоды, времён года, как будто весь мир застыл и сосредоточился в тесном коридорчике. Савельич ходит по нему, подволакивая новую ногу на большом ремне, перекинутом через плечо. Улыбается полным ртом искусственных зубов. И говорит: "Ласточка", и суёт горсть кураги: "Ты же любишь сладкое". Одуванчик ездит по коридору на разваленной коляске. Спина его, напряжённая и прямая, подскакивает при каждом повороте колеса, и раздаётся скрежет: "жжу... жжу... жжу". Одуванчику ехать недалеко — все пути сходятся в середине коридора, где в ванне, заваленной ведрами, стекляшками, грязным больничным тряпьем, собираются подымить и помусолить надоевшие свои разговоры и барабан Ваня, и старый ворчун дядя Коля, и Гришка, постоянно сплёвывающий сквозь зубы после каждой затяжки, и Митя с тонкими и правильными чертами лица и огромной выщедшей копной волос. Крон-принц. Одноногой солдатик.

Женщины почти не заходят сюда. Старухи закрываются в маленьком туалете и курят там "Беломор", запихнув вместо фильтра кусочек ваты или тряпочку.

Мысли прыгают в попытке опереться о две железные палки, взобраться по ступенькам, пролететь коридор и снова увидеть две сти-

хии: спящую маленькую девочку и снег за окном. Там, далеко за белыми полями, чёрными кустами, голодными вороньими стаями — больница Мечникова, волшебный городок, и страшноватый, и маящийся. Красные домики с белыми крышами и дальше, дальше — крыши, крыши, башенки. Белые от снега дворики. А городок, как тот, у Нильса, — неосуществлённый, скрывшийся, который поманил-подразнил, и он не успел его спасти. Городок скрылся под водой, как за белым-белым пустынным полем.

Сначала идёт снег, сквозь оконные щели просачивается тонкая леденящая струйка, и ноги так хорошо пригреваются у батареи, а лоб утыкается в железные прутья, и карандаш быстро влезит по бумаге, и у всех поскрипывают пружины, пока обитатели палаты, постанывая, укладываются на "мёртвый" послеобеденный час. Но сумерки надвигаются, и уже становится не видно ни кафельных плит на стенах, ни груды грязных тарелок, ни замусоленного рисунка, а только маленькие огоньки трёх заблудившихся в белой пустыне трамвайчиков.

А она спит так взросло, закинув за голову руки. И очень серьёзно. И кажется такой крошечной и хрупкой в своей железной детской кроватке в огромной взрослой палате с решётками на окнах.

Она говорила не "уши", а "ухи". Я знала её так недолго, но она так отчётливо всплывает в памяти среди бесконечных больничных дел, закруживших тогда: мытьё посуды, гостинцы бабкам, вызов больных к тем, кто ждёт их внизу, чтение старикам уголовной хроники — зевающим, лысым, скучным старикам. Я так отчётливо вижу, как она наклоняет к плечу свою тёмную круглую головку, ёжится и говорит: "А у меня уши замёрзли", и затаённо улыбается чему-то своему.

... Освещают неба край
Белых звёзд облатки.
Заяц белый, засыпай.
Уши, как перчатки.

— Люда, спокойной ночи, я завтра приду в гости с книжками, ладно?

Как удивлённо она смотрит глазами-черносливинами и никогда не плачет. А старуха, живущая рядом с ней в изоляторе, всё крестит-крестит всех проходящих: "Дай тебе Бог здоровья, милый, а семья-то у тебя — есть?".

Пролетая по длинному коридору, несколько дней подряд вижу её тёмную стриженую головку и как-то напряжённо вытянутую шею. Она внимательно следит за каждым шагом, пока проходишь мимо, но не окликает, а просто смотрит глазами-черносливинами. И для всех она — одна из множества детей, лежащих здесь, живущих здесь долгими зимними месяцами, высыпавших по вечерам целыми воробьиными стаями в светлых измятых пижамках. Когда они смотрят, от них отводишь глаза, чувствуя неловкость от того, что ты здоров, и невозможность больше быть счастливым. По коридору они несутся наперегонки на своих низеньких тележках, отталкиваясь от пола палкой или просто руками.

— Здравствуй, Людочка.

— Здравствуй, а мы будем с тобой смотреть книжки? Я тебе покажу.

Бывают же такие дивные детские книжки, в которых одни бесконечные картинки, а на картинках и цветы, и небо, и поля, и пустыни, и звёзды, и все "Двенадцать месяцев".

Она держит книжку полуоткрытой и сама перелистывает её скрюченными пальчиками.

— А я знаю, это ромашка, у неё жёлтая серединка, как у яйца, нам на завтрак приносят.

А вот идёт дождь, и все люди ходят с зонтиками, и мы видим сверху большие разноцветные колёса. И это сентябрь. Но вода пробивается сквозь щели, и серая муть между окон — прибывает и льётся с подоконников на пол. Дождь сечёт город сплошными верёвками.

А это что такое?

— Да это же радуга, чудачка.

— А что такое радуга?

— Это такой разноцветный мостик.

— А вон, смотри-ка, ещё один мостик!

А завтра сылет уже мелкая белая крупа, и листья под ней съеживаются бесцветными сухими комками, а деревья от ветра скребнут ветками по стеклу.

Проходя мимо изолятора, я вижу кого-то из взрослых, загордивших своей коляской весь проход — что-то затягивает туда, и слышится шипло и низко: "Надо не "спасибо" говорить, а — "мало принёс", и старухин рефрен: "Эк тебя, милый, а семья-то у тебя есть?".

... Проходят дни и начинает казаться, что сирые все - и старенький бульдог дядя Коля, одинокий и добрый ворчун. Мой стук в ванну, и слышится в ответ его хриловатый басок: "Покурить, доча? Не стесняйся - заходи, я сейчас пописал". И через некоторое время: "Ты, доча, не стесняйся - мойся, я дверь закрою, а сам тут покурю немножко".

... И Гришка - он кажется злым, резким, он плюёт в курилке на пол сквозь зубы и ругается по-чёрному, волосы встают шипами в разные стороны, а губы брезгливо кривятся. Во время заветного "мёртвого" часа, когда карандаш скользит по бумаге, пытаюсь оживить на ней его вздёрнутые губы и нервные поддёргивающиеся ноздри, он сидит, замерев. Глаза добреют и становятся почти мягкими, а волосы кажутся нежным пухом. Нервное и тонкое лицо жеребёнка, молодого Пастернака. Какая неуловимость разделяет эти два состояния...

Ночью из реанимационной палаты выходит кто-то, кому нечем зажечь спичку, и ждёт больных полуношников, чтобы достали из кармана папиросу, всю в раскрошенном табаке, раскурили и дали ему. Обшарить впотьмах всю палату, у кого-нибудь в халате спички обязательно найдутся.

А эта старуха, а может, просто пожилая женщина. Угостить её сыром - она выберет плавленый, более дешёвый, как ей кажется - чтобы не объесть. Она лежит который раз и ходит еле-еле. И кажется, что она откуда-то из Уайета: она всё время ждёт, как будто внутренне собрана, чтобы ждать. По вечерам трёт на тёрочке морковь и говорит медленно-медленно, как будто боится расплескать остаток сил.

Раз в неделю к нам ещё приходят друзья и родные - усталые, промокшие, с огромными мешками с провизией. Все мы стоим у окон и тарашимся в темноту, надеясь разглядеть "своих", и напряжённо ждём своей фамилии, чтобы, привязав к спинке коляски стул, ехать к маленькой площадке у лифта занимать место.

А вечером: "Людочка, держи", - и катятся апельсинные шары. Бабка собирает их своей единственной рукой в большой мешок и складывает в тумбочку: "Уж я ей завтра дам, сколько нанесли всего сегодня, дай Бог здоровья!". А она уже тянется к книжке, и на наши бедные головы - то дождь, то снег, то ухаёт филин по ночам, то дрожат на листьях паутины, то облетают одуванчики, а мы

в который раз страница за страницей пробираемся по лесу вслед за стариковой дочкой, и приходится то пыхтеть и булькать, как чайник, изображая глухарей, то хмуриться и сжиматься в комок ежом, потому что она никогда не видела ни глухаря, ни ежа и не знает, что такое радуга и что из снега можно лепить снежных зверей и вставлять им морковные носы.

- А это я знаю, это воробей, - она пытается погладить его на картинке тыльной стороной ладошки.

- Да нет же. Это снегирь. Они прилетают зимой, и у них красные грудки, и они далеко-далеко видны на снегу.

Через несколько дней мы снова натываемся на снегиря на картинке. Она чуть не плачет: "Что-то я не помню, кто это".

- Да это же снегирь.

- А-а-а, это такой красный фонарик, - и она смеётся, закинув голову, и кажется, что таких благословенных Богом лиц не бывает, и страшно опускать глаза вниз и видеть одеяло, которое лежит слишком плоско.

И это уже декабрь. На Новый Год детям привозят пластмассовые ёлки, и собирают их в коридоре, и вешают на их упругие пластмассовые ветки разноцветные серпантинные нити и пустые склянки из-под лекарств. Верка доверительно рассказывает мне, что раньше для детей привозили настоящие ёлки, и они стояли долго-долго, и стволы у них были липкие от смолы, и на всех этажах чувствовался хвойный новогодний запах, но санинспекция запретила, вот и появились их пластмассовые подобию.

Мы с Гришкой спускаемся звонить по автомату. Богачи, с карманами, набитыми двушками, устраиваемся на узеньком подоконнике и подбородками опираемся о костыли. Кто-то звонит домой и спрашивает про свою дочурку: "А Светлана ёлку наряжает?". И Гришка, шмыгнув носом, бормочет мне: "Ничего себе, кто-то сейчас ёлку наряжает, а ты тут гниёшь. А ёлки когда привозят? По-моему, числа двадцать четвёртого. Я люблю Новый Год, раньше подарки дадут - сидишь, хаваешь, а сейчас - всё, фига, большой стал".

На Новый Год мы находим для неё настоящую еловую лапу, а вокруг ведут хоровод блестящие кресла из консервных банок, которые вырезает дядя Коля, собирая банки по всему отделению. И у всех кресел разноцветные сидения, и я узнаю клетчатую пижаму Одуванчика и кусок от Митиной штанины.

- Балуйте, балуйте, - говорит проходящая мимо сестра, - кончатся скоро ваши денёчки, увезут её, детское отделение после карантина открыли.

- А когда это скоро? Я не хочу от вас уезжать.

А скоро - это февраль, её увозят, погрузив все детские манатки и гостинцы ("Гостинцы-то, милая, не забудь", - спохватывается бабка и утирает слёзы обрывком газеты) на высокую громящую каталку, и мы застаём в коридоре зарёванную старуху, которая только машет рукой в сторону завалившейся под кровать книжки. "Не горюй, бабка, - неловко шутит Савельич, - мы тебе ещё гостинцев принесём".

Теперь - скорее вниз на дошкольный этаж. Я так тороплюсь, что книжки вываливаются, и из них на пол сыплются птицы - маленькие фигурки с подставками кто-то вырезал для неё ножницами: ласточку, и гордого-дрозда, и большегодого снегиря. Они слетают на грязную лестницу, и нужно долго ползать по ступенькам, чтобы собрать все драгоценности. Книжки - скорее за пазуху, потому что подпоясавшись бинтом, освободить руки для костылей и к двери, где "Посторонним В.". Этот этаж всегда глухо заперт, но дверь неожиданно поддаётся, и мимо - дикая толпа бегущих, скачущих зверят, которые скорей на обед - кто на чём: на костылях, тележках, друг у друга на плечах, бегом, ползком, вприпрыжку - сейчас собьют, сметут, и я хватаю за хлястик пижамы кого-то, кому нечем отбиваться от меня.

- Где она, Людочка?

- фамилия?

- Да откуда же я знаю, дружок. Тёмненькая такая, голова круглая и удивлённые глаза.

- Там, в последней палате, - мотает головой, чтобы скорее отвязалась.

Опять коридор, такой же, как наш, такая же палата - огромная, с кафельными плитками и решётками, только здесь всё очень маленькое: низенькие кровати, и их очень много, и стульчики, и всё это где-то там, у самого пола, как будто я в лилипутской стране. Я едва успеваю всё это заметить и откуда-то из угла слышу: "Тут!". Она подняла руку вверх, как в школе, когда хотят ответить урок. Я судорожно вытаскиваю книжки и вырезанных птиц.

- Ухты-и! - уши у неё розовеют от наслаждения.

- Тебе кто больше всех нравится?

- Ну, конечно, снегирь.

"До свиданья, Лялочка", - и меня уже выволакивают и что-то жёстко выговаривают, и дверь захлопывается за моей спиной, и теперь будут внимательнее следить за замками.

До свиданья, Лялочка. Мы ещё будем стоять у двери "Посторонним В." и долго звонить в звонок, пока не откроют. Мы ещё купим новых книжек в киоске, и дядя Коля сделает стол из кофейной банки, а на книжки наклеим новогодние шары с "Поздравляем".

А на детской кроватке появится капризное маленькое существо, которое будет беспрерывно рыдать и просить не выключать на ночь свет, и Савельич скажет: "Как, говоришь, зовут её - Анжела? Ну, значит, у неё есть и мама, и папа, и даже бабушка. Она меня не интересуется".

- Ну что ты, Савельич, она же маленькая!

И он опять исправно уткнётся в свои консервные банки.

А уже февраль. Но снегири ещё побудут у нас, пока снег. Но скоро с зимней слякотью и промозглостью объявят долгий карантин и двери закроют совсем, и все мы останемся просто друг с другом зимовать в этом высоком и мрачноватом здании, из окон которого видна огромная белая пустыня и три притулившись друг к другу терракотовых домика, как застрявшие среди снегов трамвайчики. А голые кусты за домами плывут колючими облаками по снежному небу...

И мы будем рано-рано вставать, и жевать надоевшую кашу, и греть чай кипятильниками, и читать уголовную хронику, и примерять громоздкие гипсовые руки и ноги, и играть в домино, и болтать с лифтёрами, и вязать тапочки, и пить водку в лифтёрской, и назначать свидания, и встречаться на гудроновой лестнице, где все-все важные встречи и разговоры, где понимание, где становится легче и грустнее жить, и звонить по телефону, стоя на одной ноге, прижимаясь к холодной чёрной трубочке, и покупать для детей в киоске книжки, а для старух "Беломор" фабрики Урицкого. А по ночам в ванне, грязной заплёванной санкомнате, мы будем курить и молчать, потому что за день всё переговорено, и будет казаться, что стёкла разобьёт вдребезги порывами ветра, как будто кто-то периодически бросает в них целые пригоршни мелких камушков.

И в один прекрасный день мы будем собирать манатки, ловить завистливые взгляды, пьянеть от солнца, и луж, и весенних запахов,

отмокать в ванне, есть витамины, долго и муторно забывать весь прожитый кошмар, и топтать из дома на работу и с работы домой, и март, и апрель, и май, и июнь, июль, август, сентябрь, и жить, жить, жить, и уже не ворочаться по ночам, и не видеть больше кошмаров, и только шептать маленькому на ночь:

Заяц белый, засыпай.

Ухи, как перчатки.

Ночью становится тихо, только слышно сопение или храп, или кто-нибудь стонет во сне, пытаясь поудобнее уложить руки, ноги или свесить их с высоких железных кроватей. Слышно, как из крана нудно и равномерно капает вода. В самом углу, у двери, на вешалке белеют семь коротеньких халатов, а на столе — стаканы с недопитым чаем и валяются косточки домино...

"Не бойся, — говорили мне, — в конце-концов можно представить, что едешь в поезде, просто куда-то далеко...". — "Конечно, — вторила я, — днём, болтаешь со случайными попутчиками, избегаешь время, глядя в окно на далёкие огоньки, на домики в снегу, на черепашки-трамвайчики, на стал голубей, облепивших тёплые люки. Переждать, пока достучат колёса..."

Каждый вечер они занимают скамейку внизу, у лифта, и жадно смотрят на всех проходящих мимо. То прошатается толстун-лифтёр, который всегда навеселе. Подмигнёт: "Кавалеров ждёте?". То проедут худые бритые мальчишки наперегонки, резко затормозят палкой у скамейки. Нинка хохочет с ними, резко откидывает кривую свою чёлку. А то подсядет Аннушка, которая моет внизу полы, одарит конфетами. Нинка развернёт одну и засунет в рот целиком, а Варя положит на плечо, и та мягко и ловко возьмёт с плеча губами. Поскрипывая новыми туфлями, пробежит Ленка из приёмного. Улыбнётся.

— Слушай, Ленка, у тебя рубля на кино не найдётся?

Варька толкнёт Нинку головой в бок, чтоб не попрошайничала, но поздно. Ленка уже звенит монетами, а Нинка, радостно выгребая мелочь, добавит: "Ты если нам сосисок в следующий раз принесёшь, мы не обидимся".

Вечером Фёдоровна повезёт тачку с грязной посудой, и, увидев их на скамейке, разинет большущий беззубый рот, утрётся передником, и, облокотившись о перекладину своей тележки, захохочет: "Дочечки, опять у нас? ... хы..хы..хы..".

А сейчас они неотрывно смотрят на мою красную папку, и, когда я уже подлетаю к лифту, Нинка не выдерживает: "Эй, куда торопиться, посиди-отдохни. У тебя там чё, в папке?".

Как быстро все мы становимся тут своими. Провинциальные девочки в занавесочных халатах с расплюснутыми пуговицами. Ждём дежурства добрых нянек, выключиваем минутки для "постирать в ванне", выискиваем по вечерам тёмные углы, ныряем в эту темноту, зажимая в кулаке запретный хабарик, и давимся там дымом, одновременно храбрясь и боясь, что застукают.

И как одинакова здесь наша жизнь. Булка с маслом и чай — рано-рано, когда на улицах ещё темно и только горят жёлтые фонари, а потом холодные белые дни, окна покрываются игольчатым рисунком, в ванне тепло, в ванне можно закрыться на защёлку и курить, включив воду. С улицы доносится лай собак. Вместе с водой тянутся длинные одинаковые истории: бросил муж, жених, страшно, трудно, но ведь молодая ещё, да? А этот, который пишет? А может?.. Но нужно признаться, что рукав пустой. Мне кажется — нужно. А вдруг?.. Да. Ну, конечно. Но ведь лет-то мне уже много. А мама боится...

... А вода в ванну всё течёт и течёт, а дыма всё больше и больше. А на улице погасили фонари.

Стучат.

Тихо, тихо, притаись. Не открывай им, это мужики.

А им скучно. А им музыку. А их чаем, булькающим в банке.

Да не плачь, не плачь, всё образуется. А ты долго? Да все тут долго. Но ведь вырастем! А мальчики? А музыка? Нет, пить не будем. А ведь не очень заметно, да? Да.

Из красной, обтрёпанной по краям папки Нинка достаёт карандашные каракули, бережно перебирает их, дует на тонкие листочки, чтобы расправить все углы.

"А ты в специальном училище училась? Я тоже хотела художником, а у нас, в спецалке нет такого, чтоб на художника. Меня, ведь, знаешь, на кого учат — на бухгалтера. Ну чё, бля, за профессия — бухгалтер?". И, резко тряхнув своей чёлкой, Нинка сплёвывает сквозь зубы, как мужик. А Варька подвигается ко мне поближе и говорит: "А меня тоже на бухгалтера учат. А, знаешь, зачем это мне надо всё? У нас ведь училище в Загорске. Знаешь, там какие звёзды! Золотые на синем куполе. Ох, видела бы ты, как там

красиво, я только ради них туда и езжу, какой из меня бухгалтер?"

Как у Нинки всё получается складно и ловко. Их много сидит за столом — тихих больничных девочек, сутулых и стройных, с длинными косами и коротко стриженных, девочек с неправильным выговором, окующих и акающих, играющих в тихий час в "дурака".

Я лежу под одеялом, но слух и зрение — всё во мне обострено.

Нинка выбрасывает карты резко с каким-нибудь острым матерным словом. За какую-то минуту целая гамма ужимок из Лотрека. "Ща — а я тебе..." — такие острые точные все движения. Какими пресными кажутся рядом все остальные. Не в силах удержать это сумасшедшее клокотание я хватаю папку. Нинка сжмёт пальцы, перебирая карты, и, не оборачиваясь, бросает мне: "Не получится — не покажешь". — "Вертись, сколько хочешь". Всё равно не усидит, да это и не нужно. Хохочет как! Чёрный уголь размазывается резинкой — то фас, то профиль, короткие мальчишечьи путанные волосы, острые скулы, курносый нос и упрямый подбородок, но всё получается как-то грубо и обычно, не хватает нежности, которая вдруг озаряет всё лицо, когда она задумывается.

"Только, знаешь что, — ты ноги не ржуй".

... А помнишь вредного пятилетнего крикуна? Его кровать стояла рядом, он ни за что не признавал тебя, вы всегда ругались с ним. Он топал ногами, не разрешал трогать свои иностранные игрушки и угрожал своим неправильным кулачком. А ты не брала его с собой по вечерам, не реагировала на крики, не заставляла его отвернуться, когда раздевалась перед сном, то есть просто не обращала на него никакого внимания, несмотря на хитрые заводные игрушки и разноцветные конфеты. Он ходил завтракать, и обедать, и ужинать, и даже пить утренний кипяток, подкрашенный жённым сахаром, с друзьями. Они брали его за руку, сажали за свой стол и пихали прямо в рот противную склизкую кашу, а он всё равно не ел, кривлялся и притворялся, что его всегда кормят с ложки, сжимал зубы и боялся смотреть по сторонам на всех вокруг, кто держит ложку под мышкой или, наклонившись к тарелке, шумно вытягивает губами. Они его заставляли ложиться спать днём и по вечерам, и нужно было закрыть глаза и притворяться. Сами они включали музыку громко-громко, и пили вкусный чай, булькающий в банке, и мазали припрятанный за обедом хлеб вареньем или ели его с круглой розовой колбасой. Конечно, ему тоже давали, но всё равно он должен был закрывать гла-

за и притворяться, что спит, когда свет включали после пяти минут темноты.

Варька—то сразу всё про него поняла: "Вы его забалуете. С ним строже надо". Он их двоих сразу испугался, когда они пришли к нам, такие шумные — маленький и большой, грустный и весёлый, Варя и Нинка. Нинка вообще ходит со скрежетом, аршинными шагами на негнувшихся ногах, а Варька — та, наоборот, крошечная рядом с Нинкой, катится, как колобок, на детских костылях. Этот пятилетний и то выше её. Он даже не разрешил им сесть к нему на кровать. Ногами затопал: "Уходите сейчас же". Верка, конечно, на него прикрикнула, но он всё равно все свои игрушки собрал от них подальше, вот тут Варька меня и увидела: "Ох, так ты теперь здесь, здорово! Помоги-ка мне к тебе залезть". И сразу заметила все мои кульки, и орехи в банке, и стеклянные цветы.

— Покажи-ка, что у тебя ещё есть.

Ещё у меня есть маленькая лампочка с круглым красным пластмассовым чехлом. Её можно прицепить к книжке и читать по ночам под одеялом, создать свой маленький мирок среди спящих, ворочающихся, убежать в родное по зеленоватым пустынным улочкам Утрилло, по грязным обшарпанным задворкам пробираться туда, где впереди, там в глубине этих закоулков, — ослепительно белая Сакре-Кёр, пока лампа не нагреется, не запахнет пластмассой и под одеялом не станет невыносимо душно.

Варька просит прицепить лампочку к тумбочке и засунуть шнур в розетку.

— Нет, не надо, включу—то я сама.

Лампочка приводит её в восторг, она смеётся, ёрзает на моей кровати и всё время щёлкает выключателем, зажав его между плечом и тумбочкой и нажимая на кнопку носом.

— А ещё чего есть?

Я вытряхиваю содержимое ящичков, все эти домашние салфетки, душистое мыло в круглой коричневой мыльнице с золотыми буквами, мохнатое полотенце. Просит всё развернуть и показать. И вдруг замечает торчащий из-под матраса переплёт.

— А картинки есть?

Картинок много. Он шатался по улицам мимо баров, церквей, облупленных грязных стен и чахоточных весенних монмартрских деревьев и рисовал, рисовал в церковных садах и тупиках, у крепост-

ных ворот и на площадях, с натуры и взаперти с дешёвых открыток, мешая краску с гипсом или сильно нажимая на крошащийся уголь, получая по литру вина в обмен на картины, расплачиваясь в кабачках набросками на кусках картона.

У Варьки в лице кротость и удивление. Она заворожённо слушает, смотрит и пихает меня плечом: "Ты так быстро не крути, я не успеваю. Знаешь что, а ведь у него друга не было, поэтому он и пил. Он и людей—то не рисует совсем. У него все люди одинаковые, чёрные, и все уходят. Он с домами лучше разговаривает".

"Никакой это не поезд, никакой не пересадочный пункт, — выводит моя рука на тонком бумажном листе. — Это какая—то отдельная жизнь — вкус, запах и форма её совсем другие. В обычной жизни я терпеть не могу розовые занавесочные халаты и кислые зелёные помидоры и никогда не играю в домино, считая это занятие пустым и никчемным".

В тёмной нашей палате я тихо сижу за столом, прицепив к потрёпанной папке круглую красную лампу. Волшебный тёплый световой круг. Весь молодой магнитофонный вертеп где—то за стенкой. Они варят в большой банке жёлтую картошку, валяются на кроватях и курят белые сигареты. Варьки там нет, она не любит шумных компаний. "Что это за молодёжь, — говорит Варька, — один разврат. Один был хороший человек на свете — Ленин". Варьку хорошо выучили в их далёкой спецшколе. Они с Нинкой сидят, наверное, на своей любимой скамейке, и Аннушка жалуется на боли в пояснице или тяжёлую смену. Они грызут Аннушкины семечки и плюют на пол.

Где—то выше этажом уже закрыли двери на отделение и разогнали телефонную очередь, а этажом ниже водят пальцами по пупырышкам на белых страницах больших книжек, а на кухне уже перемыта посуда и нагружены тяжёлые сумки, а в подвале крысы грызут украденный хлеб, а на последнем этаже тёмной лестницы на ледяной ступеньке, набросив на плечи один прогулочный халат, целуется Клава со своим армянином.

... А он подобрался тихонько, босиком по полу к тёплому кругу от красной лампы.

— Можно я с тобой посижу? Я тихо—тихо. Ты мне только карандаш свой чёрный дай.

Теперь нас двое, двое у лампы, двое, поджав босые ноги, двое в каменном дворце на абсолютно обитаемом острове.

- Ладно, играем. Я рисую закорючку, а ты дорисовываешь, делаешь её кем-нибудь своим, кем хочешь.

Он нарисует каменный дворец и расскажет сказку про злого каменного короля, а я превращу длинную корявую закорючку в такырную круглоголовку - маленькую зелёную пустынную ящерку. Он засыпает счастливый, засунув под подушку помятый исчириканный листок.

"Мы ведь теперь подружились, правда?"

У неё в нагрудном кармашке останется сложенный вчетверо, оборванный по краю листочек клетчатой бумаги с адресом. Но она никого не попросит и не напишет сама, зажимая зубами огрызок карандаша.

Это приходит по ночам, и я радуюсь, когда встречаю их там, но, проснувшись, чувствую, что подушка моя мокрая, и ещё чувствую, что жизнь как-то грустнее и глубже, чем казалось ещё день назад.

Приснится сон - во сне будет нас всех много-много, собравшихся "на кино", как всегда, по пятницам. В клетчатых и пятнистых пижамах и халатах со спрессованными пластмассовыми пуговицами. Мы едем по длинному-длинному коридору, тянемся верблюжьей вереницей на колясках и костылях. Мы едем в кино, в большой плюшевый красный зал. В лифте, который поднимет наверх, - Нинка, рот до ушей. Она, как клоун, зазывает нас внутрь, с грохотом закрывает две тяжёлые створки и давит со всей силы на кнопку. Мы выгружаемся, а она едет за следующей партией.

Хорошо нам сидеть в мягких красных креслах, а может, просто на колясках, а может, ехать наперегонки на низеньких тележках, а потом карабкаться в первые ряды по ступенькам. И смотреть на чужую жизнь, и про всё забывать.

Все будут искать её во сне там, в большом красном зале. И я тоже буду искать, как будто она уезжает, а мне обязательно нужно проститься. И бегать от одного к другому. А потом вдруг увижу её на тележке среди огромной толпы. И протяну руку, и коснусь её спины. Худенькой голой спины. От этого прикосновения почему-то станет колко внутри от жалости, и проснусь с зажатой ладонью. В руке останется прикосновение.

Бывают сны, которые смотришь, как кино. И, проснувшись, сразу забываешь, и не шарить под подушкой, и не переворачиваешь её на сухую сторону, и не бормочешь сам себе: "А помнишь, а помнишь", и не жимаешь ладонь в кулак, пытаешься что-то удержать в ней.

А весной, спускаясь по пандусу, когда будут солнце и трава и так много открытых окон в палатах, вдруг услышу, как она кричит мне на весь двор. У Варьки голос, как у сирены. Запрокину голову вверх – сидит прямо на подоконнике.

- Варька, счастливо, ты не свались оттуда.

- Не боись, я тут привязана.

Она сидит, завернув одну ногу вокруг другой, курит и молчит. Даже не курит, а пытается затянуться погасшей сигаретой. Чему-то улыбается про себя, а потом осторожно начинает ронять слова, как будто прислушиваясь к тому, как они ложатся мне на ладони. Так бывает всегда. Наши разговоры никогда не текут плавно, как будто мы кляём зёрна.

Она уже стала надевать свитера, и я знаю, что там, на вешалке, тоже висит что-нибудь огромное и тяжёлое, но сейчас ничего этого на ней нет. Она в тоненькой синей рубашке без воротничка, с маленькими чёрточками, как будто кто-то исчирикал её карандашом. Пёстренькая такая рубашка, натянута прямо на голое тело.

- Я говорила тебе? Мне приснилось, что мы с тобой летаем. И не с крыльями, не на палке, а так - сами по себе.

И почти без перехода:

- А у тебя нет чего-нибудь выпить?

Я нахожу спирт и горький травный ликёр.

- Вряд ли ты будешь это пить. Это невкусно.

- Напрасно ты так думаешь.

Она достаёт большой стакан и смешивает содержимое бутылок, наливая себе почти полный. Пьёт спокойно, как воду, не морщась и не закусывая, только начинают блестеть глаза, и по лицу проходят красные полосы. И говорит, говорит: "... старые дома с их особыми запахами и шорохами, деревья, и ты знаешь, так хорошо купаться в Неве ночью, когда никого нет...". Вдруг замолкает и смотрит во двор. Торчат трубы, на них ожерельями виснут жирные голуби, толкуются в очереди за тёплым дымом. Окна уже погасли. Двор - "без ни- окна, без ни- души". И вдруг смотрит круглыми испуганными глазами.

А уже были пустыри с корявыми цветущими яблонями, и уже - "ты знаешь, за городом в реках цвела настоящая сумасшедшая ним-

фея", и мы уже шлёпали по перронам и курили в ветреных тамбурах, и были дожди, когда по дорогам текли мутные потоки, а земля после дождя была мягкой, тёплой, ноги увязали в ней, одежда высыхала прямо на теле, и, высунув языки, как собаки, мы уползали в тень. Абрикосы со старого дерева падали на нагретые за день доски и стучали по крыльцу, как чьи-то шаги. Их объедали козы, половинками, как будто скусывали траву, и подбирали мальчишки, вытирали о грязные штанины и плевали косточками. Их уже собирали, разворачивали на две половинки, укладывали рядками на доски, как диковинных оранжевых бабочек.

И днём и ночью между шахтами бегали вагончики и вскрикивали как-то очень по-человечьи ("я привыкла, я ведь с детства их слышу"). И вся жизнь как будто подчинялась их неведомому существованию. А по ночам над простым небелёным домиком зависала огромная красная луна.

Рыжий кожаный чемодан уже был набит сухими ветками нежной, розовой на спиле черёмухи и жёлтой старушки-груши и колёсами огненных подсолнухов. А в углу чемодана лежала длинная старушечья юбка с маленькими, мерцающими на чёрном фоне фиолетовыми цветами. Она доставалась по вечерам: бабушковая юбка, широкие стёртые кольца, серебряные монеты и колокольца, позванивающие и слышные теперь уже за калиткой — дальше, дальше, тише, тише, тише... Городские туфли оставались за яблоней, что у калитки, и серебряный звук замирал в воздухе...

А потом перроны опять слышали шлёпанье сандалий. И всё ещё было лето, и было жарко, и она мочила свои рубашки и так ходила по улицам, пыльным тротуарам, ветер кружил её по городу вместе с белым тополиным пухом. Дома давили, первые попавшиеся троллейбусы увозили невесть куда-то домой за полночь с неведомых пустырей, с карманами, набитыми упавшими птичьими гнёздами, истлевшими до паутины листьями.

Манил старый запах разрушенных домов, с потолков сыпалась штукатурка, белый пух залетал в окно, и ветер листал в комнатах обрывки обоев, картонок, старых газет. Вот здесь осталась дырка от гвоздя и яркое невыгоревшее пятно обоев, из груди белой штукатурки торчит угол школьной фотографии — потом она окажется в сумке среди старых гнёзд из плетёных волосков, бумажек, листочков. Там — у всех чистые и открытые лица и коротко стриженные

волосы, и мальчики в первых рядах симметрично лежат, опираясь на локти, а строгие учительки стоят в третьем ряду на длинной скамейке физкультурного зала. И у них белые кружевные отложные воротнички и маленькие овальные брошки у самого горла.

Всего этого хлама у неё скопилось много. Иногда и у меня остаются такие следы чужих прожитых жизней, выброшенные, как ненужное старьё, и имеющие совершенно свой, особый запах тоски, который она всегда почует на улице среди бензина, пыли, нагретого асфальта, пряных женских духов, запах уже брошенного, но неизжитого и не выраженного до конца.

А пустой дом с выбитыми стёклами и сорванными карнизами, отбитой лепниной и печными изразцами покажется богачом, владеющим всем этим миром: уносящейся рекой, и врывающейся на Марсово поле Конюшенной, и сонными, укутанными белым тополиным пухом машинами.

А сейчас, хотя самые стойкие одноногие солдатики-тополя ещё зелёные, вместо белого пуха уже пролетают жёлтые лоскуточки, которых становится всё больше и больше. Их не хочется замечать, как поблескивающие седые волосины в чёлке, и боязно метронома-осени.

— А у меня сегодня радость. Я купила блюдо. Большущее старое блюдо и абсолютно белое, без всякого рисунка.

Сейчас она уже опьянела. По-моему, ей нужно совсем немного: солнечный блик на стене, зелёный мох в старой бутылке или даже просто мокрые лапки бледно-розовых серебристых листьев.

Не просто она про это блюдо. Косится в сторону, на стенку, где раньше висел Уайет:

— Зря ты его сняла. Я каждый раз любовалась, когда приходила к тебе.

Как будто именно поэтому, когда его нет на стене, она опять будет тянуть эту бурду из стакана, словно это и есть родниковая вода, и курить свои погашенные сигареты. А может, что-то случилось, да она не скажет, и только как больная собака, которая вынюхивает лечебные корешки, она хочет уткнуться глазами в выгоревшую вихрастую траву, в акварельные сочетания оттенков палевой. Или будет красить юбки пионовыми лепестками, колдовать над кастрюлей, смешивая лепестки и корешки и выскивая, как маньяк, лечебный цвет, а потом доставать из сумки вместе с корнями валерианы сложенные разноцветные рубашки без воротничка — "у меня всё равно их

полно, я люблю, когда вещи живут, лучше смотри, что я ещё принесла". Это корни валерианы. Они лежат на тарелке, как русалочки волосы, и вся кухня наполняется их запахом.

— Их надо копать как раз сейчас, осенью. Я всё время пью — так хорошо успокаивает.

По каким болотам её носило? Когда я спускаюсь по лестнице, то выхожу в наш двор, весь уставленный ящиками с гнилыми яблоками. А куда выходит она?

В другой раз она приносит синие упругие плоды инжира.

— Ешь. Я сейчас тебе листья покажу.

Достаёт из сумки сухой лист и старается расправить его на колене. Тёмно-зелёный лист с волшебным запахом шуршит и не поддается.

У меня уже есть её листья. Несколько дней назад она принесла их мокрыми, один лежал на другом, на ладони. Желтоватые в розовую крапинку. Сунула мне ни слова не говоря. Только в глазах восторг от того, что я гладила и любовалась ими.

В комнате у меня уже лес. Свежие ветки стоят в горшке, и все мы шуршим набросанными вокруг сухими. Зелёные листья на ветках вянут, жёлтые осыпаются. По ночам я слышу, как они отрываются от веток и с шуршанием падают на пол. Она приходит — и осени прибавляется. Мне уже не запереться от неё дома — каждый раз после её ухода остаются листья, как следы или знаки, которыми она что-то хочет объяснить: кленовые — на стене, большущие бледные листья вяза на полу, нежные жёлто-красные, и шуршащий, сухой, волшебю пахнущий фиговый лист. Отчего-то это беспокоит меня, вносит какой-то смутный звук тревоги, с каким глядишь, запрокинув голову, на журавлиный клин.

Я знаю — мы все этого боимся:

— А помнишь, когда я осталась на разрушенной лестнице, с нишами для статуй, и велела тебе идти, ты вдруг с таким испугом посмотрела на меня, а потом на это овальное окошко с выбитыми витражами?..

Затягивается погасшей сигаретой и смеётся.

— Это гнусный способ, — как тяжело падают мои слова, как бездарно я пытаюсь привязать её к бытию, как будто дело в жизни и смерти.

- А какой сильный этот осенний запах!

Это чувствую даже я, хотя в нашем дворе нет ни одного дерева. И крылья у меня не настоящие, хотя и погнавшие недавно по улицам ради одного лишь жёлтого куста.

А что же происходит с ней, когда каждый день она чувствует этот прелый запах, будоражащий и зовущий неизвестно куда и к чему, ведь я-то знаю, что под этими осенними и зимними шерстяными балахонами - лёгкое, пушистое, серо-голубое - то ли тело, то ли душа, то ли летняя рубашка с рисунком, похожим на маленькие пёрышки.

Лариса Патракова

СТИХОТВОРЕНИЯ. ПРИСЛАННЫЕ ИЗ ФЕРАПОНТОВА

* * *

И завтра Спас. Не уставала ждать:
Год рисовала яблоки в тетради...
С рассветом в старый сад могу вбежать
И яблоко созревшее погладить...
Прольётся свет в ладони до конца,
А сверху свет преображённый хлынет,
И ослепит, и даже жизнь отнимет —
Не отверну счастливого лица.

* * *

Косяк гусей как точная цитата:
Я пролистала я нашла страницу,
Где радовались силе их крылатой,
Где дар весны мне возвратили птицы.

Листала книгу щебета и пенья,
Музыки летних, сказочных лесов,
Где каждое моё стихотворенье
Набито хором птичьих голосов...

В соседнем небе точная цитата
Весны минувшей. Ночи напролёт
Музыки вечной длится перелёт,
Где и само молчание крылато.

* * *

Звезда ночная осветила сон,
Где мы с тобой вдвоём опять в концерте,
И окрипачу последний такт до смерти,
И ясно, что об этом знает он.

Хочу продлить, и не дано продлить —
Сам Бах всё оборвал на этой ноте...
Звучит мотив: смерть — только долг природе:
Бесчестных нет — все смогут оплатить.

Но так совпасть! И с залом, и с судьбой,
С бессмертным вдохом Себастьяна Баха...
Совпасть, как сон и явь, как я — с тобой...
И зал был освещён ночной звездой,
Пока оркестр и ликовал, и плакал.

* * *

Как плавлен переход:
За озером, у края,
 Темнеет лес.
Над кронами паренье
 Спокойных птиц
С неярким опереньем.
Потом зари полоска золотая.
 Потом строка.
 Потом стихотворенье.

При посещении разрушенного монастыря

Ещё угадывалась жизнь
На этом крутолобом склоне:
Вяз, безобразен и кривист,
Тянулся вровень с колокольной,
Остатки стен в траве до плеч
Ещё надеялись на что-то,
И русская звучала речь
С могильных плит среди болота...

Здесь памяти сдавалась в плен,
Здесь знала путь кратчайший к цели:
Пройти, как камни этих стен,
Что и в забвенье уцелели.

* * *

Нечаянная радость в каждом дне:
Как слышишь мир, — так он в нас отзовется...
Черно в глубинах старого колодца,
Но светлый родничок бежит на дне.
Ценою страшной доставалось мне
Сквозь толщу чёрных вод его заметить...
Как слышишь мир — так он тебе ответит:
Нечаянная радость в каждом дне.

Совет Сократа

Припомни всё, что ведала душа,
Когда в пути сопутствовала Богу...
Недвижный полдень льётся из ковша
Ручьём цикад, звенящих над дорогой.
Припомни путь на тысяче конях
Вослед крылатой, лёгкой колеснице,
Припомни в полдень, на вершине дня,
Вглядишься в эти мелькающие спицы.
Нас память заставляет тосковать
О том, чему не знает и названья:
Всё сущее, что нам дано узнать,
Мы знали там. — Мы все — припоминанье...
И некрылатых душ на свете нет —
Все этот путь когда-то совершили,
Сократ не даст тебе плохой совет:
Однажды сделай страшное усилие;
Припомни всё, что ведала душа,
Когда в пути сопутствовала Богу...
Недвижный полдень льётся из ковша
Ручьём цикад, звенящих над дорогой...

этажерка



Последние пять дней
Карского Петерограда
123-28 февраля 1917 г.

Дневник
последнего Петероградского
Градоначальника

У генерал-майора Александра Павловича Балка (1866-1957) была карьера, обичная для довольно многих деятелей российской полиции, начинавших службу армейскими офицерами, но затем посвятивших себя полицейской службе (как правило, переходов в армию из полиции не бывало, в том числе и возвращений).

Потомственный дворянин Волынской губернии, он окончил I Кадетский корпус и I Павловское военное училище и с 1886 г. проходил службу в лейб-гвардии Волынского полку. 37-ми лет, он был - в 1903 году - назначен исправляющим должность помощника Варшавского обер-полицейстера, лишь через три года утвержден в этой должности и пробыл в ней до эвакуации Варшавы во время Первой мировой войны.

После этого исполнял должность полицейстера в Москве, а в ноябре 1916 года назначен был Петроградским градоначальником. Это была должность более высокая, чем полицейстерская.*

В Петербургском градоначальстве существовало, в частности, как орган политической полиции Отделение по охранению общественной безопасности и порядка (в просторечии Охранное отделение). Градоначальнику подчинялись также полицейстеры полицейских частей.

Пост был важный, и, когда он освободился в связи с уходом князя А.Н.Оболенского, товарищ министра внутренних дел князь В.И.Волконский, внук декабриста С.Г.Волконского, предложил министру А.Д.Протопопову кандидатуру Прииорского губернатора ген.Хогондокова. "Умный, энергичный, честный человек - именно такой

* По отношению к городу и прилегающим к нему местностям градоначальник пользовался правами губернатора; существовали градоначальства в тех городах, которые в состав губерний не входили.

теперь нужен нам," - заявлял он. "Пожалуй согласен, - ответил Протопопов. - Только знаешь что?.. Пусть Хогонкоков съездит сначала к Григорию (Распутину)... ну, посоветуется с ним."*

Но назначение Хогондокова не состоялось, и пост получил Балк, установившиеся связи которого с Распутиним были широко известны.

Вскоре после назначения Балк принял участие в совещаниях по подготовке к подавлению массовых выступлений совместно с представителями военного командования. Здесь были разработаны различные "положения" на случай необходимости совместных карательных действий полиции и войск, а в дни Февральской революции он оказался в центре событий, которым и посвящен публикуемый нами его "Дневник".

"Дневник последнего Петроградского градоначальника" выявлен нами в двух архивах США, в одном варианте - Р.В.Ганелиным в Факетьевском архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке, в другом - А.Д.Гурьяновым в архиве Гугеровского института войны, революции и мира в Стенфорде.

"Дневник" до сих пор не был использован исследователями ни советскими, ни зарубежными (лишь А.И.Солженицын звал в свой роман "Красное колесо" многочисленные факты из "Дневника"), а между тем он, несомненно, представляет собой весьма существенный источник фактов из истории Февральской революции 1917 г., при том что число известных нам документов, исходящих из правительственного лагеря и отражающих эти события, совсем невелико. Значение "Дневника" тем больше, что Балк и по должности и по существу дела был одним из главных руководителей правительственной администрации и карательных сил в охваченном революцией Петрограде, а в семитомном издании протоколов Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, вышедшем к десятилетию Февральской революции под названием "Падение царского режима", показаний Балка нет - в отличие от показаний командовавшего Петроградским военным округом ген. С.С.Хабалова, министра внутренних дел А.Д.Протопопова и других лиц, принимавших участие в событиях. По-видимому, Балк не давал показаний на заседании комиссии, а был лишь допрошен ее сле-

* Павельский, отец Георгий. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. Н.-Я. 1954. Т.2. стр.

Дневник
1870-292
Последние пять дней царствования
Губернатора
Копия

ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ДНЕЙ ЦАРСТВА
123-28

Дневник

Продано 1997 г.
Библиотека имени Пушкина
в Планерском универсаме
"Росвита"

Копия



ВСПОДДАННѢЙШИЙ
ДОКЛАДЪ
УПРАВЛЯЮЩАГО
МИНИСТЕРСТВОМЪ
ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ.

Всподданнѣйшій докладъ къ Императорскому Величеству на назначеніе Помощника Варшавскаго Оберъ-Полицейскаго, генераль-маіора Балка - Петроградскимъ Градоначальникомъ, съ зачисленіемъ

На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою начертано: "СВ" Дальше написано: "Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою начертано: "СВ" / Согласно въ Царской Станціи 1 Нолбра 1916 г. Управляющій Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, подпisałъ Протопоповъ.

по соответствующему роду орудія. При этомъ обязываюсь всеподданнѣйше доложить ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, что настоящес предположеніе было на обсужденіи Свѣта Министровъ.

Вѣрно: За Вице-Директора

Управляющій Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ Протопоповъ.

Получено
12/11/16
Губернатору
Копия

дователем. Вообще, как можно заключить из воспроизводимых здесь документов, Временное правительство, когда прекратилась расправа уличных толп над полицейскими чинами, не усмотрело в деятельности Балка в февральские дни никаких поводов к его преследованию. И действительно, Балк показал в эти дни поучительный образец осмотрительного поведения руководителя карательных сил в экстремальной политической ситуации.

Публикуемый текст, который его автор назвал "Дневником", в сущности представляет собой мемуары, написанные в дневниковой форме. Балк и сам признал это, пометив "Дневник": "Сараево, 1923 г." Мало того, как видно из приписок Балка, вплоть до 1944 г. он продолжал работать над "Дневником" уже после продажи его машинописного текста* "Библиотеке имени президента Хувера".

Об этом свидетельствует вариант, хранящийся в Нью-Йорке. Он представляет собой другой экземпляр машинописи с рукописными вставками автора, которые отмечены в нашей публикации курсивом.

Но подтверждения позднейшего происхождения дневника дает нам не только авторские вставки (статья Н. Ф. Акаемова, на которую ссылается Балк, была напечатана через несколько месяцев после февральской революции, а книга Ф. В. Винбера, которую он цитирует, издана в Киеве в 1918 г.), мы находим их и в основном тексте. В частности, описывая ход вечернего совещания 25 февраля, Балк излагает дело так, что "все высказались за энергичное применение назавтра оружия на всякое излейшее выступление". Но он умолчал о том, что перед совещанием Хабалов получил телеграмму от царя, гласившую: "Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки, недопустимые в тяжелое время войны с Германией и Австрией."

"Эта телеграмма, как бы вам сказать? — быть откровенным и правдивым, — показывал впоследствии Хабалов Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, — она меня хватила обухом... Как прекратить завтра же? Сказано: "Завтра же"... государь повелевает прекратить во что бы то ни стало... Что я буду делать? как мне прекратить? Когда говорили: "Хлеба дать", — дали хлеба, и кончено. Но когда на флагах надпись "Долой самодержавие", — какой же тут хлеб успокоит! Но что же делать? — Царь велел: стре-

* Продажа эта была совершена или в 1927, как явствует из варианта, хранящегося в Бахметьевском архиве, или в 1929, как указано в варианте института Гувера.

лять надо. Я убит был, - положительно убит! - Потому что я не видел, чтобы это последнее средство, которое я пушу в ход, привело бы непременно к желательному результату... Нужно сказать, что каждый вечер собирались все начальники участков военной охраны, докладывали, что происходило в течение дня, и затем выясняли, что делать на завтра...

И тогда к 10 часам должны были собраться начальники участков, командиры запасных батальонов для выслушания распоряжений на завтрашний день... Как раз после получения этой телеграммы они должны были собраться. Когда они собрались, я прочел им телеграмму, так что телеграмма мною была оглашена, и ее видели другие члены созвещения...

Я тогда объявил: "Господа! Государь приказал завтра же прекратить беспорядки. Вот последнее средство, оно должно быть применено... Поэтому, если толпа малая, если она не агрессивная, не с флагами, то вам в каждом участке дан кавалерийский отряд, - пользуйтесь кавалерией и разгоняйте толпу. Раз толпа агрессивная, с флагами, то действуйте по Уставу, т.е. предупреждайте трехкратным сигналом, а после трехкратного сигнала - открывайте огонь."*

В подлинно дневнике, который писался бы по свежим следам событий и носил сокровенный характер, Балк не преминул бы изложить дело как оно было. А в дневнике-мемуарах важнейший факт оказался опущенным. Как видим на этом примере, публикуемый нами документ (как и всякий другой, разумеется) нуждается в сопоставлении с другими источниками.

В заключение отметим, что против одного из листов Езхметьевского варианта "Дневника" находились газетные вырезки, от которых сохранились лишь обрывки. Возникает вопрос, не публиковал ли Балк связанных с "Дневником" материалов в эмигрантской печати?

Р. Е. Ганелин
А. Е. Гурьянов

* Падение царского режима. Т. I. Л. 1924. Стр. 190-191.

нарство старшаго унтер-офицера
изверга Круглова.

~~Александровича и Кайша / 1917 / ...~~
22

22/V-23 г.
г. Сараево.

Петроградск

М. В. Д.

ПЕТРОГРАДСКІЙ
ГРАДОНАЧАЛЬНИКЪ.

ПО КАНЦЕЛЯРИИ.

Сословное Дьялопроцэвдствѣ.

15 Ноября 1916 г.

Крива
М...
Крива
Душо

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.
МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ.

ДЕПАРТАМЕНТЪ
ОБЩИХЪ ДѢЛЪ.

Отдѣленіе
Столь 1.

22 ноября 1916
140006

Дѣль отъ 2
Управленію
года
ме
оско
Петро
возможнымъ
О ВЕЛИЧЕСТ
адателемъ Пет
дсдателя Помощни
ЧАЙШАГО Двора Дѣль
согорскаго.

№ 1532

7000.
Шинкевич

Я. В. Римович

Градоначальника,
араль-Маіоръ

С

/.../ мною (Градоначальством) были получены /.../* сообщения, что дни 9 и 14 января и 19 февраля /.../* уличных беспорядков. Ожидалось, что рабочие, прежде всегда бойкотировавшие Государственную Думу, но после речи Милюкова "Глупость или измена?" в Государственной Думе 1 ноября прошлого года, которая в большом количестве была распространяема среди рабочих, настроение настолько переменилось, что рабочие решили собраться в определенном пункте столицы и затем быстро двинуться к Думе для выражения ей своего доверия и подачи адреса. В указанные дни вся полиция с раннего утра была на чеку, усиленная всеми своими резервами (6 пеших рот и 300 конных городских) и кизичьими разездами, причем в фабричных районах всякая группа более 5-ти человек арестовывалась для проверки документов, а затем постепенно отпускаясь по домам. За все эти дни ни в одном месте столицы беспорядков и демонстраций не произошло.*

Последние пять дней царского Петрограда (23-28 февраля 1917 г.) Дневник последнего Петроградского градоначальника

23 февраля 1917 г.**

На это число никаких зловещих указаний не было. Начался день нормально. Погода отличная - солнечная. Мороз при полном безветрии градусов 5-6. Такая погода продолжалась все время.

В 10 ч. утра, принимая доклады у себя в кабинете, стал получать по телефону сведения об оживленном движении на Литейном и Троицком мостах, а также по Литейной ул. и Невскому проспекту. Быстро выяснилось, что движение это необычное - умышленное. Притягательные пункты: Знаменская площадь, Невский, Городская Дума. В публике много дам, еще больше баб, учащейся молодежи и сравнительно с прежними выступлениями мало рабочих. Колесное и трамвайное движение - нормальное. К 12 часам дня донесли о таком же движении на Петроградской стороне по Большому и Каменноостровскому проспектам. Густая толпа медленно и спокойно двигалась по тротуарам, оживленно разговаривала, смеялась, и часам к двум стали слышны заунывные подавленные голоса: "Хлеба, хлеба..."

И так продолжалось весь день всюду. Толпа как бы стонала: "Хлеба, хлеба". Причем лица оживленные, веселые и, по-видимому, довольные остроумной, как им казалось, выдумкой протеста. По докладу моему командующему/ войсками Петроград/ского/ военного округа ген/ерал/-лейт/енанту/ Хабалову о создавшемся совершенно неожиданным положении, в мое распоряжение были даны: 9—й

Печатается с сохранением основных особенностей авторской орфографии и стиля. /Здесь и далее примечания публикаторов/.

* Дефекты текста.

**Возможно, вышеприведенная рукописная вставка должна была следовать за датой 23 февраля 1917.

запасн/ой/ кавалерийский и 1-й донск/ой/ казач/ий/ Ермака полки. 9-й полк помещался в казармах вблизи Таврического дворца. Командир - полковн/ик/ Мартынов. Донской казачий полк после пополнения только что прибыл в Петроград. Командовал полком полковник Троилин, впоследствии бывший при генер/але/ Деникине ростовским градоначальником.

Дав маршруты 9-му зап/асному/ к/авалерийскому/ полку, я приказал крупными разездами очищать от публики тротуары на Литейной и Невском. Казаки, при нарядах полиции, были поставлены в определенных пунктах города.

В три часа я поехал в объезд по городу. Кавалеристы действовали энергично и разумно: спокойно въезжали на тротуары и требовали от публики не останавливаться и расходиться в боковые улицы. Их слушались, но как только разезд удалялся, сейчас же опять заполняли и сгущались на тротуарах, шли медленно, спокойно, тихо и заунывно повторяли: "Хлеба, хлеба". На Невском на моих глазах публика бросилась с тротуаров на середину улицы и стала группироваться против Городской Думы. Наряды полиции тщетно уговаривали разойтись. Толпа все больше росла и шумела. Увидав полусотню казаков во главе с офицером у Казанского собора, безучастно смотревших по сторонам, я вылез из автомобиля, подошел к офицеру, назвал себя и приказал немедленно карьером прибыть к месту сосредоточения и рассеять толпу, не употребляя в дело оружия. Офицер, совсем еще молодой, смущенно посмотрел на меня и вялым голосом подал команду. Казаки построили взводы и шагом, скользя по накатанной мостовой, двинулись вперед.

Пройдя несколько шагов рядом с ними, я крикнул: "Карьер". Офицер перевел свою лошадь на "ходу", казаки тоже, но чем ближе приближались к толпе, тем медленнее был аллюр, и наконец совсем остановились.

Толпа заревела от восторга, но ненадолго. Из Казанской улицы вылетел галопом разезд конной полиции и устремился на толпу. Мгновение - и все разбежались.

По приезде в Градоначальство - мне было доложено, что на отдаленных улицах группы хулиганов и подростков останавливают извозчиков, грузовиков на Выборгской стороне. *На Самсониевском проспекте были задержаны два трамвайных вагона, причем два околоточных и два полицейских офицера, водворяя порядок, получили серьезные ранения - помощ/ник/ прист/ава/ Киргельс и пом/ощник/ прист/ава/ Гротгус. * Заводы работают. По официал/ным/ донесениям в 50-ти фабрично-заводских предприятиях забастовало 87 530 чел.* Красных флагов нигде не замечалось. Агитаторов и руководителей беспорядков тоже не видно. В итоге дня - причина народного движения непонятна. Ни Департамент полиции, ни Охранное отделение на мои запросы не могли указать мотивы выступления. При вечернем докладе начальника Охранного отделения генерал-майор Глобачев не имел сведений, объяснявших случившееся. Не исключалась случайность. Хорошая погода тоже сыграла роль. Голода не было. Достать можно было все. К хвостам привыкли. Хлеб, вкусный и питательный, выдавался по 1 1/2 ф. на человека, а рабочим и войскам по два. У многих была припасена мука, сухари. Волновали слухи, распространяемые паникерами, что скоро мука перестанет доставляться и *выдача хлеба будет производиться по карточкам*, а потому надо делать запасы сухарей. Во всяком случае, вопрос о наступающем голоде был раздут

* Фразы зачеркнуты.

самой же публикой, к сожалению, не без участия интеллигенции, и получилась общая паника, вынесенная кем-то на улицу. А затем - хождение и вопли: "Хлеба, хлеба", очевидно, всем нравилось: было приятное занятие ставить полицию в глупое и смешное положение. И таким образом многие вполне лояльные люди, а в особенности молодежь бессознательно подготовляли кровавые события, разыгравшиеся в последующие дни...

Продовольственный вопрос, ввиду неполного количества доставляемой *за последнее время* ежедневно в столицу муки, хотя и был немного обострен, но не представлял причин для беспокойства. В городских запасах находился недельный резерв муки для прокормления 3-миллионного населения. Военные запасы в счет не шли, и в крайнем случае можно было бы и ими воспользоваться. В очередях приходилось ждать, но не более того времени, к которому привыкло население. Заботы продовольственного органа, во главе которого уже две недели находился не градоначальник, а по моей усиленной и упорной просьбе особое, вполне самостоятельное лицо, ничего общего с Градоначальством не имеющее, действительный статский советник Вейс, назначенный государем по предствлению министра земледелия Риттиха, сводились к получению наибольшего количества вагонов с мукой, которые в изобилии находились на узловых станциях - в заторе. Для этой цели были командированы министром земледелия особые лица - толкачи, с большими полномочиями. Ежедневно для нормального удовлетворения необходимо было получать 40 вагонов муки, но, несмотря на общий крик "давай вагоны", таковые благодаря застопорке, прибывали с 14-го февраля не полным числом. Ввиду запасов муки, являлась возможность не уменьшать количество пайка, расходуя из резерва и ожидая ежечасно, что министр путей сообщения наладит обещанную разгрузку узловых станций. Телеграммы получались со всех сторон, что мука идет в большом количестве и что вот-вот - столица будет залита мукой.

По моей инициативе в 11 час. ночи в большой зале Градоначальства собралось заседание под председательством генерал-лейтенанта Хабалова. Участвовали: начальник штаба* генерал-майор Тяжелников, полковник Павленко, как командир гвардейских запасных частей (генерал-лейтенант Чебыкин, популярный среди гвардии, уехал незадолго на отдых в Кисловодск). Командиры: 9-го запасного кавалерийского полка полковник Мартынов, командир казачьего полка полковник Троилин, начальники военных районов, адъютант генерала Хабалова лейб-гвардии Финляндского полка поручик Мацкевич, начальник Охранного отделения генерал-майор Глобачев, командир жандармского дивизиона генерал-майор Казаков, полицеймейстера: действительный статский советник Значковский, генерал-майор Григорьев, полковник Спиридонов, полковник Шалфеев, полковник Пчелин, действительный статский советник Мораки, начальник Резерва полковник Левисон, начальник Сысского отделения статский советник Кирпичников, начальник речной полиции генерал-майор Наумов, мой секретарь Н.Н.Кутепов и все чины, состоящие для особых поручений при градоначальнике.

В начале заседания я ознакомил присутствующих с событиями дня. Пострадавшие были только упомянутые выше чины полиции. *Подробные донесения приставов* изложены в статьях *Н.Акаемова "В царском лагере", от 3-го февраля 17-го года включительно до 28 февраля*. Выяснилось, что казачий полк во всех случаях

* Петроградского военного округа

бездействовал. Полковник Троилин, очень симпатичный и выдержанный человек, заявил, что полк только что пополнен. Казаки не опытни в обращении с толпой и могут действовать только оружием, и что лошади у них не приучены к городу. На вопрос одного из военных начальников, почему казаки не разогнали толпу нагайками, получился для всех совершенно неожиданный ответ: "Нагаек в полку нет". Генерал Хабалов приказал из сумм, находящихся в его распоряжении, отпустить немедленно по 50 коп. на казака на обзаведение нагаек.

Решено назавтра войскам быть готовыми по первому требованию стать в 3-е положение, т.е. занять соответствующие городские районы. Пока охрана города оставалась на ответственности градоначальника.

Я немедленно отдал приказание на завтра занять, согласно давно уже выработанному плану, все ответственные пункты города, мобилизовать всю полицию, усилив ее казачьими и кавалерийскими запасными полками и жандармским дивизионом. Речная полиция охраняла переходы через Неву. План охраны столицы, а также инструкция совместных действий войск и чинов полиции были выработаны мною при полном согласии с военным начальством еще в ноябре месяце. *Секретная* инструкция была отпечатана в типографии Градоначальства и всем, кого она касается, разослана. *Министр Двора барон Фредерикс* доложил об этом государю. Государь заинтересовался и рассмотрел внимательно план Петрограда, на котором в красках были нанесены места расположения войск и чинов полиции, до вступления войск в третье положение. Остался вполне доволен,* но заметил, что в случае если народ устремится по льду через Неву, то никакие наряды его не удержат, *что и оправдалось впоследствии*.

По окончании заседания разошлись все в спокойном настроении. У военных была полная уверенность, что при вызове войск порядок будет немедленно водворен. При прощании генерал Глобачев еще раз доложил мне, что для него совершенно непонятна сегодняшняя демонстрация и возможно, что завтра ничего и не будет.

Ночь прошла совершенно спокойно.

24 февраля.

В 9-м часу утра я со своим секретарем Н.Н.Кутеповым объезжали столицу.

Остановливаясь в местах сосредоточения нарядов, я выходил из автомобиля, кратко объяснял создавшееся положение и обращался со словами уверенности, что чины столичной полиции, при свойственной им выдержке и умении нести службу, поработают даже сверх сил, но водворят порядок в столице, что так необходимо для спокойного настроения войск на фронте.

По ответам и глазам людей я убедился в сознании ими важности переживаемого момента и что они всецело проникнуты чувством долга, что и подтвердилось впоследствии на глазах у всего Петрограда.

Большой наряд находился во дворе Городской Думы. Здесь пришлось задержаться дольше. Классные чины полиции, городские и жандармы с полным спокойствием и пониманием обстановки отвечали на мои вопросы, и, когда я объявил, что распоряжением министра внутренних дел раненные вчера на Выборгской стороне чины полиции получили по 500 руб. пособия на лечение, - чувство благодарной удовлетворенности появилось на их лицах.

* Выделено Балком.

Проезжая по Невскому и Литейной к Литейному мосту, хотя и было заметно усиленное движение, но скопления народа нигде не было. В конце моста на Выборгской стороне стоял большой полицейский наряд и не пропускал праздничношагающих на другую сторону реки. По Неве у спусков тоже видны были наряды. Движение через Неву нормальное.

Сойдя на мосту с автомобиля, я подошел в упор к толпе, большей частью состоявшей из простого народа, стоявшей и глазевшей на наряды полиции, и громко спросил: "Почему вы не работаете и стоите без дела". На что после некоторого колебания четыре человека из впереди стоявших вступили со мной в разговор во вполне пристойном тоне. По их словам, в столицу доходит мука в достаточном количестве, но ее населению не раздают, а продают спекулянтам, и вот народ голодает, а спекулянты наживаются. "Неправда", - ответил я и предложил им немедленно отправиться ко мне в Градоначальство, где я им прикажу показать в Продовольственном отделе книги и накладные прибывающего ежедневно хлеба. Один из них пусть хоть сейчас садится в автомобиль и поедет со мной в Градоначальство, где и будет ожидать прихода остальных. Они поблагодарили и сказали, что придут, но на поездку со мной, хотя и подталкивали друг друга, не решились. Я подозвал автомобиль, сел и, попросив дать дорогу, проехал через толпу на Выборгскую сторону. Некоторые поклонились. На Выборгской и Петроградской стороне было спокойно. Можно было думать, что предположение начальника Охранного отделения сбудется и что прогулки со стонами: "Хлеба" - населению надоело. В Градоначальство тоже тревожных сведений не поступало, создалась возможность заняться текущими делами. Я приступил к приему посетителей.

В 12-ом часу все телефоны завопили: через Неву по льду ниже Литейного моста гуськом, в нескольких местах, протаривая дорогу в снегу, а затем в других пунктах Невы, - двигались непрерывные вереницы людей. Об этом звонили из разных мест, и даже генерал Хабалов передал мне *по телефону*, что он из окна своей квартиры на углу Литейного и Французской набережной видит непрерывные цепи людей, быстро идущих через Неву на Французскую набережную.

На Литейной, Знаменской площади, по Невскому от Николаевского вокзала до Полицейского моста и по Садовой улице - вскоре сосредоточились сплошные массы народа. Прекратилось движение трамваев, и участились случаи ссаживания с извозчиков, а у Николаевского вокзала и на Лиговке хулиганы сворачивали кладь с ломовых. Движение через Неву увеличивалось с каждой минутой. На главных улицах массы плотнели и наряды полиции потонули в толпе. В любой момент толпа могла начать выступление, но, как и вчера, руководителей не было *видно*, и пока все ограничивалось отдельными хулиганскими озорствами.

Медлить было рискованно. В 12 1/2 час. дня я доложил по телефону генералу Хабалову, что полиция не в состоянии приостановить движение и скопление народа на главных улицах и что если войска не возьмут правительственные и общественные учреждения под свою охрану, то я, в особенности с наступлением сумерек, не в состоянии поддерживать порядок в столице.

На это генерал Хабалов сейчас же мне ответил: "Считайте, что войска немедленно вступают в 3-е положение. Передайте подведомственным вам чинам, что они подчиняются начальникам соответственных военных районов: должны исполнять их приказания и оказывать им по размещению войск содействие. Через час я буду в Градоначальстве".

Я созвал лиц, состоящих непосредственно в моем распоряжении, разъяснил положение дел, послал телеграммы полицеймейстерам с требованием немедленно явиться к начальникам военных районов и сообщить министру внутренних дел А.-Д.Протопопову о вступлении войск в 3-е положение по телефону. Министр выслушал спокойно и спросил мое мнение о создавшемся положении. Я ответил: "Если войска сразу же проявят энергию и твердость, то их совершенно достаточно для достижения положительных результатов".

Через несколько минут по окончании разговора с министром мне доложили, что после моего отъезда с Выборгской стороны толпа у моста настолько увеличилась, что проезд на мост стал затруднителен и можно было ожидать, что и сама толпа хлынет на другую сторону и прорвется на Литейный проспект. Полицеймейстер Выборгской стороны полковник Шалфеев после долгих угавариваний приказал наряду конной полиции рассеять толпу, что и было мгновенно исполнено. Полковник Шалфеев, старик, всеми уважаемый и любимый населением, шел за разъездом и в это время сзади получил удар булыжником в голову настолько сильный, что, потеряв сознание и обливаясь кровью, свалился на мостовую. Сейчас же его перенесли в клинику. Рана оказалась тяжелой. Этот случай еще больше укрепил сознание военного начальства, что положение создается серьезное.*

По приезде генерала Хабалова было решено, ввиду налаженности доставки всех сведений в Градоначальство, обилия телефонов (при моем письменном столе было семь) и привычки обывателей со всеминасущными вопросами обращаться в Градоначальство, установить штаб командующего войсками не в Окружном штабе, как предполагалось раньше, а в Градоначальстве. Для меня это было удобно в том отношении, что распоряжения военного начальства становились мне в большинстве случаев сейчас же известными и я мог в каждом случае дать сведения и генералу Хабалову и разъяснять многие вопросы своим подчиненным и встревоженным обывателям, обращающимся ко мне и лично, и по телефону. Что же касалось канцелярских дел - их пришлось пока прекратить, т.к. Градоначальство, а в особенности мой кабинет обратился в штаб командующего войсками и заполнился лицами, состоящими при генерале Хабалове, а также начальниками районов и адъютантами, прибывающими с докладами. Генералу Хабалову и его штабу я предложил столоваться у меня. Во двор Градоначальства, к сожалению маленький, был введен жандармский дивизион. Прибывающие войска располагались по Гороховой; И Адмиралтейской площади; их долго не держали и отправляли по назначению. Порядок дня установился следующий: между 9-10 час. утра приезжал из своей квартиры генерал Хабалов, в это время собирались и чины его штаба. Я делал доклад-сводку происшествий. В 11 часов ночи съезжались все начальники военных районов на доклад к генералу Хабалову. В это время я имел возможность, оставаясь тут же в кабинете, принимать доклады по текущим делам. Кабинет большой, разделенный аркой, и мы друг другу не мешали. Если я находил нужным что-либо заявить, подходил к столу и принимал участие в заседании. За все время никаких недоразумений у войск с чинами полиции не было. Отношения установились самые приятные и доверчивые. Моя просьба в отдаленные и глухие места ставить военно-полицейские посты была принята сочувственно, и постовые городовые в

* Абзац "Через несколько минут... положение создается серьезное" зачеркнут, затем восстановлен.

одиночку не стояли. На главных улицах продолжали стоять полицейские посты, но вдвоем. На почлез все из Градоначальства разъезжались по домам, наряды отпусkaliсь по казармам, и в 1-2 час. ночи Градоначальство и вся столица мирно отдыхали до утра.

Ежедневное донесение государю, как и в последующие дни, до 26-ого включительно - состояло, кроме сжатого доклада о случившемся, в сообщении, что поддержание порядка в столице перешло в руки командующего войсками. Ежедневный рапорт на высочайшее имя писался по особому традиционному образцу, установленному еще императором Николаем I: начинался с перечисления движения больных по госпиталям, указания несчастных случаев с воинскими чинами и уже под конец, в краткой форме, о событиях в столице. Писал рапорт особый чиновник, на удивление красиво пишущий, и подписывал я не ранее 12 час. ночи, причем чиновник искренно огорчался, когда я удлинял рапорт. Это было вопреки традиций.

По вступлении войск в городские районы и выставлении ими караулов большое движение народа продолжалось, и хотя закончилось рано, уже к 6-ти час. вечера, но день этот был обилен беспорядками хотя без жертв, но с разгромом в отдаленных улицах пекарен, колбасных и фургонов с хлебом. Число бастовавших рабочих увеличилось до 197 000 в 131 предприятиях. На улицах толпы, хотя и небольшие, то и дело выкрикивали: "Долой полицию, да здравствуют войска", и при удобном случае врывались в мастерские и торговые заведения и разгоняли рабочих и служащих. Прибывший с вечерним докладом начальник Охранного отделения сообщил мне малоутешительные сведения: в левых верхах было решено, если завтра опять соберутся толпы, использовать положение в смысле агитации и, если заметно будет сочувствие улицы, произвести беспорядки, смотря по обстоятельствам, включительно до вооруженного выступления. Какие выбросят толпе лозунги, ясно не было - тоже смотря по обстоятельствам. Замечалось, что верхи сами не могли понять и разобраться в свалившейся совершенно неожиданно на их голову благоприятной обстановке.

Приняв во внимание доклад начальника Охранного отделения и донесение приставов, я немедленно передал по телефону все сведения генералу Хабалову. Военное начальство все же таки решило пока воздержаться от применения оружия.

25 февраля.

При моем утреннем объезде столицы впечатление получилось благоприятное. Уборка улиц идет вовсю. Магазины открыты, уличное движение нормальное. Трамваи ходят. Большая часть фабрик работает. *Хотя число бастующих достигло 240 тыс. человек. Сенная площадь переполнена продуктами. Колбасная-шатер, устроенная принцем Ольденбургским, битком набита покупающими дешевые и вкусные колбасы (из гальо).

Постовые городские держатся и отвечают бодро. Видна полная готовность служить не за страх, а за совесть.

При посещении в клинике старика полковника Шалфеева, он глубоко тронул меня, заявив, чтобы я не терял времени с ним, что он скоро поправится и вновь будет нести службу на своем посту.

Часов около 10 дня, когда уже все военное начальство сидело у меня в кабинете, неожиданно (без доклада) отворилась дверь и вошел министр внутренних дел Протопопов. Со свойственной ему приветливостью, приподнятым тоном обратился ко

мне со словами сожаления о раненых чинах полиции и просил принять и передать стolicной полиции благодарных за их тяжелую самоотверженную службу в последнее время, причем объявил, что, как первое пособие при ранении, он из сумм Министерства еще вчера приказал отпускать в каждом случае по 500 рублей. Все сказанное предложил мне в срочном порядке объявить в приказе по Градоначальству.*

Первое уличное выступление произошло в пре-
двечерние часы в переулке Суворовского участка.
У дома № 5 на Косой линии толпа набросилась на городового
Франца Вата.

Волнения начались с утра и на окраинной стороне. На Охте толпа в 500 чел. разбила стекла в двух мелочных лавках и похитила из лавки Якумена более 10 пудов хлеба, а затем разбила товар еще в двух лавках на сумму более 3000 рублей. Толпа эта была разбита конным отрядом. В Новой деревне толпа забастовавших рабочих, пришла на красильную фабрику Пекле на Строгановской ул., разбила несколько окон и заставила прекратить работу. Дв-

Сегодня фабрики уже работали не так интенсивно, как в предыдущие дни, но приблизительно подсчет число забастовавших достигло 240 000 чел. Рабочие уходили группами с занятий и по дороге митинговали. Полицеймейстер П отделения генерал Григорьев докладывал, что в районе Путиловского завода толпы рабочих несколько раз рассеивались рядами конной полиции.

В час дня на Знаменской площади толпою были выкинута красные флаги.

Ириваст Александровской части ротмистр Крылов, один из выдающихся по службе офицеров, с небольшим нарядом полиции пробился через толпу, захватил флагоносца, выхватил у него флаг и направился с задержанным к Николаевскому вокзалу. Толпа тесно их обступила и следовала за ними. Неизвестный выхватил сади у ротмистра из пожен

шашку и нанес ему смертельный удар в голову. Хотя медицинская помощь была немедленно оказана на вокзале, но ротмистр Крылов, не приходя в сознание, скончался через несколько минут. Значительный наряд казаков находился тут же, но не никакого содействия даже и тогда, когда вызванная конная полиция рассеивала толпу на площади.

Во многих местах стали появляться ораторы с призывом низвергнуть преступное, предавшееся на сторону немцев правительство. Призывали войска обратить штыки на изменников и избивать чиннов полиции.

Толпа уже не двигалась со стенами: "Хлеба, хлеба", и не проявляла свойственное ей в предыдущие дни веселое настроение, впрочем, и состав толпы был уже иной: преобладали подонки и интеллигентная молодежь с немалым процентом молодых евреев. Многие поняли, что игра в прогулки превращается в торжество черни. Этот день был обилен происшествиями и явно носил бунтарский характер. Трамваи останавливались. Седоков с извозчиков ссаживали, причем по адресу прилично одетых сыпались остроты и ругань. В некоторых местах из лавок тащили съестные припасы, ну и конечно, били

Около 11 часов про-
Васильевском острове с
ние толпы с войсками. П.
градский трубачий за
толпа и требов.
Была в
полка

* Фраза зачеркнута.

фонари и стекла в окнах. Появлялись и красные флаги, но все пока еще было разрознено. Каждый руководитель действовал по своей инициативе, и общего определенного выступления не было.

В 4 часа дня в разъезд жандармов на углу Невского и Литейной брошены две бомбы слабой разрушительности, но сильные по звуку. лошади были ранены. Люди не пострадали. Около этого же времени у Городской Думы воинские чины дали несколько выстрелов по толпе, напавшей с красным флагом к Думе. Убитых - 4, ранено - 12. Дежурным отрядом Красного Креста раненым была немедленно оказана помощь.

Вообще же, несмотря на беспорядки, обыденная жизнь столицы продолжала идти своим чередом. Присутственные места работали нормально. Вечером театры, кинематографы и другие увеселительные места - были полны.

На Екатерининском канале, вблизи церкви Спаса-на-крови, "команда эвакуированных" лейб-гвардии Павловского полка, вызванная к Думе на усиление, остановилась и начала митинговать. Когда появился разъезд конной полиции, солдаты обстреляли их, убили две лошади и ранили двух конных городовых. Прибывшему командиру запасного батальона лейб-гвардии Павловского полка полковнику Экстену солдаты кричали, что к Думе не пойдут и против народа выступать не желают. Полковник Экстен начал их уговаривать, и в это время кто-то из собравшейся толпы выстрелил в него сзади в упор из револьвера и тяжело ранил в шею. Полковника увезли в казармы полка, а команда долго еще митинговала, и только прибывшему полковому священнику удалось уговорить их возвратиться в казармы.

Теперь ясно. Этот безнаказанный выстрел имел большие последствия. Руководители поняли, в какую среду надо направить все свои усилия. Они использовали, как выяснилось впоследствии, все средства и все силы вплоть до пропаганды среди думских депутатов-социалистов. В ночь на 27-е февраля в казармах Вольнского и Преображенского полков и достигли решительных результатов: штыками солдат завоевали так называемую великую, бескровную российскую революцию.*

Тогда военное начальство говорило, что это только "команда эвакуированных", подлежащая на днях возвращению на фронт, но что остальные части батальона, в особенности учебная команда, крепки, и надеялись, что, поступив с "командой эвакуированных" по всем строгостям закона, другим будет неповадно.

По прибытии команды в казармы, она была выделена в особое помещение, а 11 человек особенно виновных - отправлены в Петропавловскую крепость. Было сделано распоряжение на другой же день назначить суд.

В штабе генерала Хабалова события принимались чересчур спокойно. Генерал Хабалов и генерал Тяжелников были молчаливы и замкнуты. Полковник Павленко - главный распорядитель - проявлял деятельность, но сильная контузия, а также и слабое сердце не давали ему возможности быстро разбираться в создавшейся обстановке, а когда он говорил по телефону, затягивал слова, и по временам понять его даже сидящим в той же комнате было затруднительно, да и манера выражаться не всегда была подходящая к случаю.

А в это время телефоны звонили и требовалось немедленное решение и распорядительность. Полковник Павленко был верен своему долгу - заменить своего на-

* Слова "... и достигли ... российскую революцию" зачеркнуты.

чальника генерал-лейтенанта Чебыкина, находящегося на отдыхе в Кисловодске, но он был явно болен. Болезнь за последние дни обострилась. Все это знали. Знал и генерал Хабалов, но, к сожалению, своевременно не заменил его.

Кипучую деятельность, находчивость и способность быстро разбираться в затруднительных случаях - проявлял адъютант генерала Хабалова лейб-гвардии Финляндского полка поручик Мацкевич. Он сидел напротив моего стола и не отходил от главного телефона, передавая трубку мне, когда дело касалось Градоначальства. Почти все военные вопросы разрешал немедленно сам, несмотря на присутствие - старших, сидящих тут же. За все время я не слышал, чтобы ему кто-либо сделал замечание. И надо отдать ему справедливость: шло все быстро и понятно. По временам он глазами спрашивал мое мнение и я движением головы отвечал ему.

Генерал Хабалов за всю мою совместную службу производил на меня впечатление человека доступного, работающего, спокойного, не лишённого административного опыта, но тиходума и без всякой способности импонировать на своих подчиненных и, главное, распорядиться войсками.

Отсутствие генерала Чебыкина, знающего отлично весь гвардейский офицерский состав Петроградского гарнизона и до корней волос строевого офицера, умевшего говорить с солдатами и воздействовать на них, - давало себя чувствовать. Уезжая в отпуск в Кисловодск, генерал Чебыкин сам сознавал, что это как будто несвоевременно, и, прощаясь со мной, говорил, что по первой же телеграмме немедленно явится в строй, и действительно явился, но уже не для дела, а лишь для заполнения, в качестве арестованного, и без того до отказа набитого Министерского павильона Таврического дворца.

Можно допустить, что день 25 февраля дал лицам, заинтересованным в разрастании беспорядков, убеждение, что отсутствие популярного, энергичного руководителя представляет им еще больше шансов рассчитывать на успех пропаганды в переутомленных войсках, тем более, что запасные батальоны, перегруженные людьми местного призыва, доходящими до 15 тысяч штыков в батальоне, возглавлялись больными, ранеными офицерами или малоопытными, только что окончившими ускоренные курсы военных училищ молодыми людьми.

Вопрос о выводе и во всяком случае о разгрузке столицы от запасных батальонов поднимался уже моим предшественником князем Оболенским. 2-й пулеметный полк был уже выведен, но этого, конечно, было недостаточно. Я через министра Двора барона Фредерикса просил довести до сведения государя о необходимости иметь несколько полков гвардии. В половине января в гостинице "Астория" я увидел, как знакомый мне командир улан его величества князь Эрстов одел в швейцарской николаевскую шинель, а затем, когда швейцар подил ему телеграмму, прочитал ее, и, улыбнувшись, снял шинель, и опять пошел в холл. Я спросил, что это значит. "Получил от своего заместителя, что наша бригада завтра утром грузится для следования на отдых в Петербург, а затем идут эшелоны и других гвардейских полков". Я немедленно сел в автомобиль, и поехал на Фонтанку к министру Протопопову, и сообщил о радостном известии. Протопопов повернулся к образу, встал на колени и стал молиться. Но этого не случилось. Кто помешал этому, не знаю. Вместо кавалерии прибыл гвардейский экипаж, который и парадировал эффектно с красными бантами 28 февраля перед Родзянко.

День 25 февраля был нами проигран во всех отношениях. Не только руководители выступлений убедились, что войска действуют вяло, как бы нехотя, но и толпа почувствовала слабость власти и обнаглела. Решение военного начальства импортировать силами и в исключительных случаях применять оружие не только подлило масло в огонь, но, заматавши войска, дало им возможность думать, что на хулиганские выступления начальство смотрит растерянно, как бы боится "народа", а помехой всему власть и полиция.

На вечернем военном собрании по заслушанию докладов начальников военных районов все высказались за энергичное применение назавтра оружия на всякое малейшее выступление.

Генерал Хабалов без колебаний согласился и приступил к составлению воззвания к обывателям в самой решительной форме.

В 11 часов в Градоначальстве уже никого из военных не оставалось. Движение народа и сегодня окончилось рано. Доклад начальника Охранного отделения гласил, что руководители, ввиду удачи дня, решили продолжать свою тактику бунтарства, но определенного согласованного плана у них до сих пор еще все-таки выработано не было.

В 1 часов* ночи я был вызван срочно к председателю совета министров князю Голицыну. Быстро собравшись, отправился на Моховую. Город вымер. На улицах видны были военно-полицейские посты и разезды. Безветрие. Идет маленький снег. Всюду тишина. Секретарь премьера дежурный чиновник Сцепион де Кампо немедленно без доклада провел меня в комнату, где за столом уже сидели все министры и директор Департамента полиции. Отсутствовал по болезни морской министр адмирал Григорович. Мне было предложено место между князем Голицыным и военным министром генералом Беляевым, и сейчас же князь Голицын обратился ко мне с предложением подробно доложить о текущих событиях.

За овальным столом, кто на диване, кто на мягких креслах, сидели министры. Подавленности и растерянности - никакой, за исключением генерала Беляева, не было.

Доклады и обмен мнений шли по очереди, начиная с меня, затем Беляев, Протопопов, Риттих, Покровский, Добровольский и далее. Князь Голицын руководил заседанием, преисполненный спокойствием и достоинством.

Я доложил подробно все сведения, имевшиеся у меня, причем все молчали и никаких вопросов мне не задавали. Я почти окончил доклад, как вошел генерал Хабалов, и князь Голицын, обращаясь к нему, сказал: "Градоначальник уже изложил нам положение дел в столице. Прошу ваше превосходительство с своей стороны ознакомить нас с имеющимися у вас сведениями и высказать ваш взгляд, что надо предпринять для водворения порядка".

Генерал Хабалов ничего нового не сказал, добавив, что он приказал назавтра принять решительные меры к подавлению беспорядков, пресекая таковые в корне оружием. Распоряжения войскам и предупреждение жителей столицы, что всякая попытка к беспорядкам будет беспощадно подавлена огнем, - печатаются и до рассвета будут расклеены в большом количестве на улицах. Генерал Хабалов говорил по обыкновению спокойно, но подъема и уверенности в успехе дела в его словах не было.

* Так в тексте.

Генерал Беляев говорил вяло, неуверенно, имел вид человека, боящегося ответственности, закончил словами: "Да, конечно, надо принять энергичные меры".

Министр внутренних дел Протопопов начал с характеристики существующих политических партий и их влияния на события. Он предложил вообразить круг, а в нем соответствующие по величине сегменты, окрашенные в политические цвета: красный, оранжевый, черный и т.д. Не думаю, чтобы политические сегменты заинтересовали присутствующих. Момент был неподходящий. Время не ждало. Заключение министра было: немедленно, пока еще не поздно, принять решительные меры к подавлению беспорядков в столице.

Министр земледелия Риттих со свойственным ему красноречием подавлял реальностью выводов и высказал, что только несокрушимая энергия и решимость не останавливаться ни перед какими жертвами могут завтра установить расхлябанный организм власти и порядок. Каждому необходимо проникнуться сознанием не останавливаться перед ужасом пролития крови, т.к., упустив время теперь, в дальнейшем потребуются уже море крови. Министр Риттих сказал это таким непреклонным тоном, с таким подъемом, что невольно все притихли. Пауза длилась довольно долго и была тягостна. Затем взял слово министр иностранных дел Покровский. До этого времени он безучастно сидел на диване, не проронив ни слова: вялый, часто закрывая глаза, производил впечатление переутомленного человека, еле борющегося со сном. При первых его словах почувствовалась искренность, отнюдь не растерянность, а глубокое убеждение, что другого исхода нет.

"Господа, - говорил министр, - по моему мнению, нам остался единственный выход: немедленно же всем отправиться к государю императору и молить его величество заместить всех нас другими людьми. Мы не снискали доверия страны и, оставаясь на своих постах, ни в коем случае ничего не достигнем".

Голос его был спокоен. Глаза светились искренностью и добротой.

Заявление Покровского - была истина. Полагаю, что большинство сознавали это в тайнике души своей, но также понимали, что складывать портфели, когда в столице бунтует чернь, несвоевременно и преступно.

Взгляды, высказанные прочими министрами, ничего особенного не представляли. Все, кроме Покровского, требовали решительных действий. Таким образом, робкому генералу Беляеву и нерешительному генералу Хабалову представилась возможность убедиться во всеобщей поддержке того образа действий, на котором они остановились, к сожалению, только в ночь на 26 февраля.

Заседание министров в этом отношении принесло пользу: два генерала, далеко не воинственные, набрались энергии и освободились от страха ответственности перед царем и обществом.

Заседание закончилось в 3 часа ночи.

Во время заседания два раза входил секретарь председателя совета министров и докладывал князю, что Гучков по телефону хочет говорить с градоначальником, на что князь сказал: "Передайте Гучкову, что градоначальник занят в заседании и отлучиться не может".

Как выяснилось впоследствии, Гучков хотел говорить со мною по поводу произведенного этой ночью ареста некоторых членов военно-промышленного комитета. Гучков приехал для этой цели в Градоначальство и, узнав, что я у князя Голицына, звонил несколько раз. Князь Голицын догадывался, с какой целью ищет меня Гучков, но, разделяя взгляд о необходимости ареста, не хотел по этому поводу допустить ходатайство Гучкова.

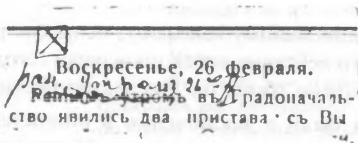
Военно-промышленные комитеты, руководимые Гучковым, за последнее время играли двойную роль. Снабжая войска снарядами, вели злостную пропаганду против существующего правительственного строя и стремились завоевать симпатию рабочих и улицы. Назначенный съезд представителей военно-промышленных комитетов в Москве на февраль месяц не был допущен. Гучков, надеясь добиться при посредстве давления Думы разрешения съезда в Петрограде, кликнул клич, и представители собрались за несколько дней до беспорядков в Петрограде. Мною были получены сведения от Департамента полиции и Охранного отделения, что съезд, собравшись, займется не только специальными делами, но и чисто политическими вопросами дня и выразит первым делом недоверие правительству. Съезд допущен не был. Гучков рвал и метал. Наконец надежды съехавшихся оправдались. Родзянко принял горячее участие и добился, что 25 февраля съезд был неожиданно разрешен, причем чины местного участка, не получив от меня уведомления о внезапном разрешении съезда, не допустили таковой открыть в одном из домов Троицкого переулка.

Пожаловались Родзянко, и тот ничего лучшего не нашел, как протелефонировать мне взбешенным голосом, что "я сейчас сам поеду в Троицкий переулок и за шиворот выброшу пристава из помещения".

Итак, съезд открылся. Что говорилось на съезде, не помню, но в ночь на 26-е некоторые члены съезда по представленным данным министру внутренних дел Департаментом полиции были арестованы и съезд закрыт. Руководящую роль на съезде играл Гвоздев.

При моем обратном проезде по городу наблюдалась полная тишина.

В Градоначальстве рапорты полицеймейстеров и сведения начальников Охранного и Сысского отделений ничего нового не дали.*



26 февраля

День начался по обыкновению с объезда.*

При объезде города на улицах у объявлений генерала Хабалова, написанных в самом решительном тоне и расклеенных в большом количестве, толпятся кучки. Лица серьезные. Беспечно веселого настроения, как в первые дни, уже нет. Погода, к сожалению,

продолжает быть прекрасной. Часов около десяти с окраин города пришли донесения о начавшейся стрельбе войск по толпам. В 12-ом часу учебная команда лейб-гвардии Волынского полка, находившаяся на Знаменской площади, открыла огонь по Новому Невскому, Гончарной и Лиговке.

Градоначальство стало заполняться встревоженной публикой. В этот день все приемные были забиты до отказа просителями. Некоторые напуганы, но большинство с чувством удовлетворения: наконец-то войска перестали быть только свидетелями уличных безобразий и перешли к активным действиям.

Принц Ольденбургский, бывший премьер Трепов, министры, графиня Витте, Царское Село и проч. запрашивали меня и интересовались событиями. В числе других меня посетили бывший московский градоначальник генерал Резвой-Ренбот и бывший варшавский обер-полицеймейстер генерал Мейер. Беседа с ними о пере-

* Фраза зачеркнута.

живаемом, про государственный переворот не упоминалось. Беспорядки - да. Но Россия их знала за последние годы немало, а мы, служащие в министерстве внутренних дел, были далеко не истеричны: привыкли к ним и понимали, что без жертв с обеих сторон, конечно, не обойдется, но предположение, что войска в конце концов не подавят волнение, и в мыслях не допускали.

Войска стреляли и в других пунктах, но в общем умеренно. Не было надобности - при первых выстрелах толпа разбежалась. Задолго до сумерек в столице наступила тишина и видимый порядок. Действиями волынцев на Знаменской площади военное начальство осталось особенно довольным: стрельба произвела подавляющее действие на толпы.

За весь день, по сведениям, поступившим в Градоначальство, оказались убиты - 50, ранены около 100 (в большинстве случаев, к сожалению, лица, случайно попавшие под выстрелы)*. На три миллиона жителей процент ничтожный.

В 11-ом часу ночи, во время военного заседания, неожиданно приехал министр внутренних дел Протопопов. Я провел его в гостиную и сообщил о событиях. Протопопов, удовлетворенный действиями войск и достигнутыми результатами, выразил удовольствие, что Градоначальство действует в полном согласии с военными властями и что за все дни общей работы не случилось никаких недоразумений. *Министр был спокоен и даже весел.*

На заседании доклады начальников районов носили успокоительный характер, но общее мнение было: "войска устали"; а некоторые части не получили совершенно горячей пищи, возвращались в казармы голодными.

Мой большой приятель, боевой офицер капитан Машкин, оставшийся за заболевшего полковника Висковского, командира запасного батальона лейб-гвардии Волынского полка, на мои слова: "Волынцами сегодня все любовались", с горькой улыбкой сказал: "Да, это правда, действовали отлично, но страшно измучились, а в 4 часа утра их надо опять поднимать. Это нелегко". Тон его мне не понравился. Сам он тоже был изнурен до крайности.

Начальник Охранного отделения по специальному телефону, испросив разрешение не приезжать с докладом, передал, что действия войск произвели сегодня на выступавших угнетающее впечатление и можно ожидать, что завтра беспорядки пойдут на убыль. Он был прав. Когда мы были в заключении в Министерском павильоне, солдаты Преображенского полка рассказывали нам, что 26-ого вечером рабочие, возвращаясь по домам, говорили им: "Черт вас дерит. Мы за вас стараемся, а вы в нас стреляете. Пропади вы прахом. Завтра утром поспим, а после обеда встанем на работу". *Итак, стрельба войск по толпам, даже умеренная - произвела на улицу столь подавляющее действие, что можно было с уверенностью ожидать на следующее утро переход к успокоению столицы. За последние два дня шаталась по улицам преимущественно чернь, - она порядком уже вымоталась, а главное, убиелась, что на войска рассчитывать как будто бы нельзя.*

Просидев до 2-х часов ночи за работой, я пошел *первый раз за эти дни* спокойно спать. Проходя по приемному залу, я невольно залюбовался зимней царственной красотой Адмиралтейского сквера и опозитизированного Адмиралтейского шпица. Столица спала. Казалось, отдыхала от безобразий последних дней, лишь у пылающих костров жались извозчики, а около них неподвижно стоял

* Слова "(в большинстве случаев... под выстрелы)" зачеркнуты.

неизменный страж порядка - старый петербургский городской. *Вспомнив городского, я считаю своим долгом привести отзыв о нем известного беллетриста полковника лейб-гвардии Уланского полка Ф.Винберга, - вот подлинные его строки в его статье "В плену у обезьян". "Я принимаю близко к сердцу вопрос о городских, т.к. хорошо знаю, какой это был цельный, полезный, выдержанный тип служака. Служа в уланах ее величества, я много месяцев провел на полицейской -- службе, и таким образом имел случай близко познакомиться с городскими во время несения ими самой их трудной, опасной и ответственной службы! Я всегда выносил из своих наблюдений самое отрадное впечатление, ибо мне, как военному, особенно ценно было видеть, сколько мужества и беззаветной храбрости, распорядительности и толковости проявили городские в самых трудных и опасных положениях. И сколько этих доблестных служаков было увенчано мученическим венцом во время нашей Февральской революции!!!*

Городовой

*Городовой... Как звучно это слово,
Какая власть, какая сила в нем...
Ах, я боюсь, - спокойствия былого
Мы без тебя отчасти не вернем...
Мечтой небес, миражем чудной сказки
Опять войдет знакомый образ твой,
И вижу я, что без твоей указки
Нам не пройти житейской мостовой...
Где б ни был ты, ты был всегда на месте,
Всегда стоял ты грозно впереди.
В твоих очах, в твоём державном жесте
Один был знак: "подайся... осади".
Бранился ль я с неутомимым ванькой,
Иль ночью брел по улице с трудом,
Не ты ль мне был защитником и нянькой,
Не ты ли мне указывал мой дом...
Прекрасен вид восставшего народа,
Волнуют грудь великие дела,
Но без тебя - и самая свобода
Взаоплозванному сердцу не мила...
О появись, с морозно красным ликом,
С медалями, с крестами на груди,
И обойди всю Русь с могучим криком:
"Куда ты прешь... Подайся... Осади!..
Ф. Винберг."*

27 февраля

В 3 часа утра над кроватью зазвонил телефон. Генерал Глобачев сообщал о полученных им сведениях про 2-й флотский экипаж: перебить офицеров, когда они придут на занятия в казармы. Позвонил к Хабалову: гробовое молчание. Вызвал к телефону полицеймейстера и местного пристава, отдал распоряжения и немедленно приказал приставу ехать и доложить командиру экипажа. Утром во 2-ом флотском экипаже все было благополучно. Осуществилось нечто худшее в другой воинской команде, которая до этого времени считалась образцовой в округе.

27 февраля.*

В 8-ом часу утра зазвонил телефон. Был уверен услышать известия про 2-ой флотский экипаж. Ошеломляющее сообщение командира запасного батальона лейб-гвардии Волынского полка, полковника Висковского. "Где генерал Хабалов", - спросил меня взволнованный голос. - "Его здесь нет, он еще на квартире, а что случилось." - "Учебная команда не хочет выходить из казарм."

Затем пауза. Слышу, полковнику Висковскому что-то докладывают задыхающимся голосом. "А вот сейчас, - продолжал полковник, - мне доложили, что заведующий учебной командой капитан Лашкевич убит, а команда взбунтовалась..."

Я немедленно соединился и сообщил министру. "Каково ваше мнение? - спросил Протопопов. - "Дело совсем плохо, раз команда лучшего батальона взбунтовалась и убила образцового командира. - *Это уже начало военного бунта!*"

Министр некоторое время молчал. "Я по повелению государя только что послал в Государственную Думу высочайший указ о перерыве заседаний. Что вы на это скажете." - "Если б это было сделано значительно раньше. Теперь только повредит делу." - "Ну, посмотрим, что Бог даст, может, к вечеру все и успокоится," - закончил А.Д.Протопопов.

К 9-ти часам приехал со штабом генерал Хабалов. Был вызван находящийся в отпуску в Петрограде полковник Преображенского полка А.П.Кутепов, имя которого так прогремело потом в Добровольческой армии. Он был популярен среди солдат-преображенцев, как храбрый, близко стоящий к ним офицер. В ожидании его прибытия сосредотачивали учебные команды гвардейских полков в отряд, которым полковник Кутепов и должен был подавить взбунтовавшихся.

За это время сведения получались неутешительные. К волонцам присоединились соседи по казармам: литовцы, часть преображенцев и 2-й саперный батальон. Все высыпали на улицы, стреляли в воздух, в числе выкриков были также слышны: "Не хотим чечевицы". Вся эта вооруженная орда слушалась каждого проходимца и, из боязни ответственности, жаждала только руководителя, за спиной которого можно было бы укрыться. Скоро таковой нашелся в лице унтер-офицера Волынского полка Кирпичникова, а затем с Выборгской стороны примчались на автомобилях товарищи-рабочие.

Тогда крики и стрельба прекратились, перешли к грабежам по квартирам и поджогам.

В 10-м часу жандармский дивизион, расположенный на пути движения взбунтовавшихся к Литейному мосту, во главе с поручиком Подобедовым и людьми, оставшимися свободными от нарядов, тоже присоединился к бунтарям. Окружной суд и *Литовский замок* пылали. Патронный завод захвачен и тоже подожжен. *Арсенал разграблен.*

Для меня стало ясно - мы теряли власть. *Из Крестов выпущены преступники и не только политические, но и уголовные.*

В 10 час., вызвав к телефону министра, я доложил ему, что военный бунт беспрепятственно и быстро разрастается. К вечеру в столице будет полная анархия, что возлагать надежды на одного полковника Кутепова, как бы он ни был храбр и популярен, - теперь уже поздно. Министр задал вопрос, что теперь по-моему надо делать. "Предупредить государя и надежно охранить царскую семью, послав сейчас

* Слова "27 февраля" зачеркнуты.

же в Царское Село конную полицию, за стойкость и верность коей я ручаюсь". Министр ответил: "Это преждевременно, к вечеру подойдут с фронта свежие войска. Продержитесь ли вы до вечера". - "Да, продержимся". - "Да хранит вас Господь Бог. Я рад, что вы спокойны". Этот разговор был последний разговор мой с А.Д.Протопоповым как с министром.

Наконец прибыл в Градоначальство полковник Кутепов. Генерал Хабалов обрисовал печальное положение, назначил в его распоряжение 4 учебные команды с 12 пулеметами и приказал подавить бунт. Полковник Кутепов выслушал молча. Затем сказал: "Слушаю", и отправился к отряду. Внешность его и манера держать себя производили подкупающее впечатление - чувствовались сила и энергия.

После ухода полковника Кутепова настроение штаба окрепло. Вскоре по телефону начали передавать о движении отряда, и к часу дня получились сведения, что отряд продвигается к Литейному мосту и перед ним отходят взбунтовавшиеся части, сосредотачиваясь у Государственной Думы. Затем сообщения прекратились, и, когда я в 2 часа обратился к поручику Мацкевичу с вопросом: "Что же Кутепов?" - получил ответ: "Постепенно продвигается". По тону ответа и опять понизившемуся настроению штаба понял, что они сами не знают, где и что с Кутеповым.

С 2-х часов дня события протекали с подавляющей быстротой. Часов не помню. Помню только, что случилось в Градоначальстве до сумерек и что было после сумерек в Адмиралтействе, куда мы все по приказанию генерала Хабалова перешли, как к месту, где удобнее располагать отряды и защищаться в случае нападения; что такое произойдет, никто из нас не сомневался.

На отряд полковника Кутепова возлагались все надежды. Его неудача пришибла окончательно энергию Хабалова. Около 3-х часов дня появился в Градоначальстве совершенно растерянный генерал Беляев. Он удалился в отдельную комнату с генералом Хабаловым и там они совещались. Через некоторое время на место заболевшего полковника Павленко был назначен и вызван генерал Занкевич.

Генерала Занкевича я знал давно. Коренной офицер лейб-гвардии Павловского полка, а на войне командир этого же полка, военный агент в Румынии и Австро-Венгрии, генерал-квартирмейстер, а в последние дни начальник Генерального штаба - генерал Занкевич делал блестящую карьеру. Смелый, находчивый, умеющий быстро завоевывать общую симпатию, при сравнительной молодости и большой трудоспособности, он был к тому же и большой политик.

Его назначение на место больного полковника Павленко надо было только приветствовать, но... положение было настолько безнадежное, что генерал Занкевич, назначенный, как многие и понимали, не заместителем полковника Павленко, а руководителем всего дела, уже не мог спасти дело, а только *помочь* более ловко выйти из создавшегося положения.

Не успели еще кончить совещаться генералы Беляев и Хабалов, как, проходя по приемной в кабинет, я, к немалому удивлению, увидел поднимающегося по парадной лестнице моей квартиры великого князя Кирилла Владимировича. За ним шел растерявшийся швейцар. Увидев меня, великий князь поздоровался и выразил желание переговорить совершенно наедине. Я провел его высочество незаметно для других через зал моей квартиры в мою малую гостиную.

Великий князь, сохраняя полное спокойствие, сел удобно в мягкое кресло, предложил мне сесть насупротив и ровным, отчетливым, так хорошо всем извест-

ным голосом своего покойного отца спросил: "Каково по-вашему положение?" - "Военный бунт начался с 8-ми часов утра и до сих пор не только не подавлен, а с каждым часом увеличивается." - "Разве войска из окрестностей не прибыли?" - "Насколько мне известно, прибыло 2 эскадрона, но и они бездействуют." - "Что же будет дальше?" - "Я полагаю, что ночью столица окажется в руках бунтовщиков."

Великий князь задумался, а затем голосом, полным горечи, начал говорить: .

Закончив разговор, спросил: "Не знаете ли, где генерал Беляев?" - "Здесь на совещании с генералом Хабаловым." - "Я хотел бы его повидать. Проводите меня..."

Я провел великого князя, и минут через 10 он уехал.

Градоначальство бралося с бою напуганными обывателями. Мои два помощника и чиновники для особых поручений помогали мне удовлетворять просителей. Напрягая всю силу воли, приходилось, сохраняя спокойствие, говорить о пустяках, шутить и делать вид, что веришь в благоприятный результат миссии Кутепова, в приход свежих верных войск и проч...

Какая-то француженка со своей прислугой заявляла обиженным тоном, что сегодня не могла достать белого хлеба, а от черного хворает. Она была так назойлива и вместе с тем так несчастна, что, чтобы отделаться, я приказал принести ей на подносе французскую булку. Восторг был полный. Она ушла, расточая благодарности. Событиями она не интересовалась. Офицер, приехавший только что с фронта, убедительно доказывал мне, что толпу можно рассенать, бросая бомбы, распространяющие дымовые завесы. Два офицера с преступными физиономиями нахально лезли, требуя автомобиль для уборки с улиц раненых, вид которых производит дурное впечатление на толпу. Цель была ясна: автомобиль был им нужен для агитации. Я направил их к генералу Хабалову, предупредив, что следует установить их личности. К сожалению, они не были арестованы и вновь появились уже победителями в Министерском павильоне 29-ого февраля. Графиня Витте звонила по телефону, опасаясь за свой особняк. Графиня Игнатьева передавала, что молит Бога послать мне силы. Бывший премьер Трепов обадривал меня, говоря, что зная мое спокойствие, он уверен, что в конце концов порядок будет восстановлен. *И т.д. без перерыва...*

В это же время произошел курьезный разговор с Петроградским головой П.-И. Леляновым. Явившись в Градоначальство в хорошем настроении, он в очень вежливом тоне извинился, что отрывает меня от дел, и заявил, что только что на думском заседании решено все продовольствие передать Думе и он, как председатель Продовольственной комиссии, назначил заседание на завтра в 4 часа, так вот и спрашивает, удобно ли для меня это время. Я с удивлением посмотрел на него, но, не желая терять время, сказал, что назначенный час меня вполне устраивает. П.И., по-видимому, остался удовлетворенным и добавил, что завтра будут избраны представители городских районов от населения и что таким образом продовольственный вопрос облечется в более жизненную форму. Я и с этим согласился, и он, вполне довольный, сердечно распрощавшись, уехал. Я, хорошо зная его, не мог заподозрить в неискренности. Этот человек, как и многие другие в то время, несомненно верил в великую, бескровную...

Тут же надо было давать указания многочисленным своим подчиненным и принимать срочные доклады. За весь день у меня не хватило времени сделать не-

сколько шагов, зайти в столовую и чем-нибудь подкрепиться.

В кабинете моем прибывающие с делами были понуры и растеряны. Собиралось все большее и большее количество офицеров. Настроение сгушалось. Началась агония власти. Раздались рыдания. Истерично плакал капитан Кексгольмского полка: только что учебная команда отказалась выполнить его приказание...

Генерал Хабалов отдал распоряжение всем до сумерек перейти в Адмиралтейство, где были бесконечные дворы и помещения, а также расположение зданий и коридоров давало возможность успешнее выдержать осаду.

Я лично получил приказание распустить служащих при Управлении Градоначальства и находиться при генерале Хабалове. Я пригласил управляющего канцелярией действительного статского советника Голованова, своих помощников и состоящих при мне чинов для особых поручений и передал приказание о прекращении занятий и о том, чтобы они шли по домам. "Приходить ли, ваше превосходительство, завтра на занятия?" - спросил управляющий. - "Только в том случае, если стрельба на улицах даст возможность безопасно перемещаться." Обращаясь к своим помощникам, добавил: "А вас, господа, прошу находиться при мне; в случае несчастия со мною старший из вас вступит в исполнение обязанностей градоначальника." Генерал-лейтенант Вендорф и камергер Лысогорский, не медля ни секунды, единодушно ответили: "Слушаем". Остальные чины, состоящие при мне: статский советник Н.В.Стобеус, статский советник П.Ф.Акаемов, ротмистр Игнатиус, барон Остен-Сакен, граф Ланской и секретарь Н.Н.Кутепов заявили, что в переживаемую минуту еще больше, нежели когда-либо, считают своим долгом оставаться при градоначальнике.

Тронутый их благородным порывом, я опять повторил, что в случае нашего долгого вынужденного отсутствия Градоначальство останется без руководителей, что, конечно, для всех нас нежелательно.

К этому времени картина падения власти уже вырисовывалась. Войска не противостояли бунтовщикам, переходили на их сторону, в лучшем случае бездействовали. С большинством участков телефонная связь прекратилась. Некоторые из них были разгромлены, и *подожены многие из них, а чины полиции зверски убиты*.^{*} Чины полиции переоделись в штатское платье и разбежались, ища пристанища у знакомых. *Некоторые*^{**} нашли приют в Государственной Думе. Толпа всюду преследовала их: издевалась, замучивала и тут же, натешившись, убивала. Кто распорядился широко открыть для несчастных страдальцев двери Государственной Думы - до сих пор не знаю, но память о благородстве этого человека навеки останется в сердцах наших.

Первым был разграблен и подожен резерв и квартира начальника резерва полковника Левисона, все это время состоящего при мне. Он застрелился через две недели на могиле своей матери на Смоленском кладбище. Работа и преданность долгу этого офицера были исключительны. К вечеру разграблено и сожжено Охранное отделение. Телефонная станция осаждалась, но пока еще верная своему долгу учебная команда лейб-гвардии Измайловского полка отстаивала здание.

Мы были хозяевами положения от Невы до Мойки. О событиях за этой чертой получались отрывочные, случайные сведения.

* Слова "многие из них... убиты" зачеркнуты.

** Слово "некоторые" вписано вместо "многие".

Распушенная Государственная Дума до 2-х часов дня была почти пуста. Затем растерянные депутаты в количестве 30-50 человек устроили заседание, и тут на их глазах начали собираться понемногу субъекты, совершенно им неизвестные. Вначале они робко бродили и застенчиво смотрели по сторонам, как бы ожидая, что каждую минуту их могут выгнать, а затем, освоившись и увеличившись числом, потребовали отвести им особое помещение для митинга, что оробевшие думцы немедленно и исполнили. Так образовалось ядро, и получил жизнь первый совет рабочих и солдатских депутатов.

Первая из воинских частей, прибежавшая в Думу и занявшая место разбежавшегося старого караула, - была 4 рота лейб-гвардии Преображенского полка под командой ст.ун./тер-офицера/ Круглова. Она оставалась там более месяца, окарауливая арестованных в Министерском павильоне Думы. Керенский всецело доверял ст.ун./тер-офицеру/ Круглову и, являясь иногда в павильон, по пяти раз в день здоровался с товарищем Кругловым за руку и интимно беседовал с ним.

К вечеру войска и толпы считали Думу редюнтом революции, непрестанно вливались в нее и парадировали перед Родзянко.

Итак, надо переходить в Адмиралтейство. Я открыл ящики своего стола с секретной перепиской и, не стесняясь посторонних, сжег в камине все до последнего клочка бумаги.

Я потребовал смотрителя здания и своих ординарцев и приказал им после моего ухода запереть Градоначальство и доносить о всем случившемся напротив в Адмиралтейство. Затем одел пальто и, не заходя в свои комнаты, вместе со своими сослуживцами стал спускаться по парадной лестнице.

"Ваше превосходительство, что делать с готовым обедом?" - спросил лакей. Мы были голодны. Я невольно призадумался, но полковник Левисон доложил, что генерал Хабалов со своим штабом уже уехал и наряды ушли. Я посмотрел на голодные лица окружающих и, как ни жаль мне было их, сел в автомобиль.

В городе слышна стрельба. Проезжая мимо памятника Петра, вблизи нас начал работать пулемет. Кто в кого стрелял - трудно было определить. Казалось, как будто с крыши Сената.

Прибыв в Адмиралтейство, мы были неприветливо встречены помощником начальника Морского штаба. Он заявил неприязненным тоном, что обращаться штаб в военный лагерь он без разрешения начальника штаба допустить не может, так как это повлечет приостановку текущих дел. По-видимому, и он, подобно городскому голове, не понимал, что мы переживаем и что нас ожидает завтра.

Генерал Хабалов молчал. Наряды понуро стояли на дворе. Но тут вмешался генерал Занкевич и уладил дело: нам предоставили главный вестибюль и бесконечные коридоры 1-ого и 2-ого этажа здания, выходящего на Дворцовую площадь. Военное начальство распорядилось ввести пехоту в коридоры, а конницу сосредоточить во дворе между сараями. В это время, около 5-ти часов пополудни, прибыла к нам из Павловска в полном порядке гвардейская запасная батарея с 52-мя боевыми снарядами. Командир батареи полковник ходил, прихрамывая, опираясь на костыль, и обращал на себя внимание, как кадровый офицер, имевший, видимо, влияние на людей батареи. Казалось, счастье нам улыбнулось. В руках бунтовщиков артиллерии не было.

Генерал Хабалов в Адмиралтействе располагал нарядом в количестве:

4 учебных команды		
гвардейских частей	800	штыков при пулеметах.
резерв полиции	100	штыков
2 запасных гвардейских эскадрона, пришедших из окрестностей	200	сабель
конная полиция	200	-"
жандармский дивизион	100	-"
гвардейская запасная батарея	8	орудий

Итого: 900 штыков, 500 сабель, 8 орудий

Кроме того, в городе находились в полной готовности к выступлению военные училища: пехотные Павловское, Владимирское; Николаевское инженерное; Морской и Пажеский корпуса; артиллерийские Михайловское и Константиновское и Николаевское кавалерийское. Всего приблизительно штыков 2000, орудий 16 и сабель 200. Кроме того, в военной школе шоферов находилось 8 броневых машин. Всего в Адмиралтействе и в городе было по меньшей мере: штыков 2900, орудий 24, сабель 730 и 8 броневых машин, не считая нескольких школ прапорщиков, расположенных в окрестностях.

Генерал Хабалов все это знал. Относительно *готовности* училищ ему *докладывали*. Почему он не воспользовался помощью юношей, рвавшихся принять участие в подавлении бунта, осталось для меня совершенно непонятным. Может быть, он боялся обвинения в привлечении учащихся к политике, чего, действительно, раньше история не знала. Невольно задашь вопрос, что почувствовали бы митинговавшие в Думе, когда бы узнали, что Дума окружена кавалерией и 8-ю броневыми машинами с пушками и пулеметами...

Стали размещаться в Адмиралтействе. Штаб генерала Хабалова поместился в первом этаже налево от входа. Было достаточно мебели. Имелся тут же и телефон. Я с своими двумя помощниками, генералом Казаковым, полковником Левисоном и все-таки прибывшими ротмистрами Игнациусом и Н.Ф.Акаемовым уселись в стороне группой. В.Н.Стобеус, опоздав на автомобиль, несмотря на простуду, тоже направился за нами, но, проблуждав долго по Адмиралтейству и не найдя нас, пошел домой. С нами же находился бывший полицеймейстер Васильевского острова генерал Галле, недавно назначенный варшавским обер-полицеймейстером. Хотя он никакого участия в деле не принимал, но, интересуясь событиями, держался при штабе генерала Хабалова. Распоряжался генерал Занкевич. Генерал Хабалов был спокоен и по обыкновению молчалив.

По инициативе генерала Занкевича было отдано распоряжение построиться на Дворцовой площади ротам лейб-гвардии Преображенского полка, расположенным в казармах на Миллионной улице. Генерал Занкевич, известный полку по войне, вышел к ротам, поздоровался и, сказав несколько слов о переживаемых событиях, обошел ряды, разговаривая с солдатами. Роты ответили на приветствие и вообще держали себя дисциплинированно... Генерал Занкевич все же так вынес впечатление, что посылать их против бунтовщиков рискованно: как бы не увеличить ряды противника.

Немало прошло времени, пока налаживались сношения по новому телефону, хотя из Градоначальства дежурный околоточный Небраскин, не пожелавший

оставить свой пост, все время указывал соединяющимся номер нашего нового телефона. Военное начальство нашло в отдельной комнате еще один телефон, и с этого времени разговоры велись не в моем присутствии. Я только два раза был вызван к телефону: начальник пожарной команды генерал Литвинов докладывал мне о размерах пожаров за день, и в 12 часов ночи дежурный околоточный при телефоне докладывал, что в здании Градоначальства - благополучно. Около 7 часов вечера пришел в Адмиралтейство бывший командир Гвардейского корпуса генерал Безобразов, подсел к общему столу и, обращаясь к генералу Хабалову, спросил: "Ваше превосходительство, знаете ли вы, где находится голова бунтовщической гидры?" Генерал Хабалов что-то невнятно ответил. "Голова гидры на Таврической улице, в Государственной Думе. Отрубите ее, и завтра в столице наступит спокойствие".

Генерал Хабалов ответил, что он знает и посылает отряд. Затем генерал Безобразов распрощался.

Часы тянулись. Отряд не посылался. Сидя в креслах, мы дремали. Генерал Хабалов со штабом перешел в отдельную комнату. Часов около 10-ти генерал Хабалов пригласил меня и сообщил, что Петроград объявлен на осадном положении. Бывший главный военный прокурор генерал-лейтенант Макаренко назначен министром внутренних дел, что об этом уже печатаются в канцелярии Морского штаба объявления и что надо их расклеить по городу. Я доложил, что расклеивать объявления в настоящее время можно только при охране расклейщиков особыми воинскими нарядами и что необходимы клей и кисти. Людей же я немедленно назначу. Когда были готовы люди, генерал Хабалов сказал, что охранение дать не может, а также нет клея и кистей. "Пусть ваши люди разбрасывают, а где можно - нацепят на ограду сквера объявления в районе Адмиралтейства и Дворцовой площади". Я отдал соответствующие приказания.

Около 12 1/2 часов ночи генерал Хабалов неожиданно для меня отдал распоряжение перейти в Зимний дворец и подготовиться к защите его, приспособив пулеметы во втором этаже. Не скажу, чтобы это приказание кого-нибудь удивило или взволновало. Усталость, голод, сон, а главное, сознание, хотя об этом вслух и не говорилось, что войска не хотят активно выступать и что начальники, уже чувствуя свое бессилие, всеми мерами стараются отдалить решающий момент, - всех угнетало...

Ощущалась апатия и полное равнодушие даже к собственной участи. Поднялись. Начали пропускать команды. Загромычала артиллерия. Ни команд, ни разговоров. Тягостное молчание. Морское начальство любезно провожало нас, очевидно, радуясь, что отделалось от опасных гостей.

Великолепная тихая ночь. На улицах редкая одиночная стрельба. Валяются объявления генерала Хабалова. Медленно идем и невольно любимея красавицей Невой, Дворцом, Петропавловской крепостью. Прохожих и войск совершенно не видно. Около моста свернули направо по Дворцовой набережной. В это время молча, не прощаясь, отделился генерал Галле и пошел по мосту на Петербургскую сторону. Кто-то иронически заметил: "Спасает шкуру".

Во Дворец вошли через подъезд Александра П и попали в лабиринт коридоров, где уже стояли, сидели, а кто и лежал, наши войска. Офицеры указывали места нарядам, часть подымалась с пулеметами во второй этаж. Все состоящие при генерале Хабалове остались в первом этаже, в двух больших комнатах, покрытых коврами и увешанных картинами. Мягкие диваны и удобные кресла манили к отдыху. Появилась надежда, что наконец-то передохнем и нас накормят. Но разочарование полное. Встречали нас приветливо только старые лакеи. Заведывающий Дворцом генерал категорически заявил, что без разрешения министра Двора не пустит нас и требует, чтобы мы немедленно ушли из Дворца.

Генерал Хабалов молчал. Генерал Занкевич стал убеждать и объяснять положение потревоженному от сна генералу. Наконец было получено разрешение остаться на время, пока генерал снесется со своим начальством. Кто-то из служащих по своему личному почину прислал горячего чая с хлебом. Начался общий разговор. Было и горько, и смешно: в Адмиралтействе и Дворце мы являемся помехой. По-видимому, на нас смотрят, как на обреченных, и нашей помощи не только не желают, а боятся нашего присутствия, как повода к ответственности в будущем. Вследствие своего бессилия мы оказались для всех лишние и даже опасны...

Меня вызвал к телефону из Царского Села помощник дворцового коменданта генерал Гротен. "Что там у вас происходит?" - слышался бодрый начальнический голос. - "Все уже произошло. А теперь генерал Хабалов с своими войсками не может найти места, где расположиться". - "Меня не это интересует. Я спрашиваю, наступил ли уже порядок в городе?" Я удивился, что генерал Гротен не понимает серьезности событий, и вкратце объяснил. Тон его переменялся. "Я вас попрошу, - продолжал он, - утром своевременно сообщить мне, если толпы направляются в Царское Село". Я опять разъяснил генералу, что полиции на местах уже нет, участки разгромлены, телефонная связь отсутствует и что даже войсками, находящимися при генерале Хабалове, распорядиться он не решаетесь. "Что же дальше будет?" - обеспокоенным голосом спросил генерал. "Если не придут к утру верные войска, - будет конец царской России, таково мое мнение. Все-таки поговорите с генералом Хабаловым".

Следствием разговора генерала Гротена с генералом Хабаловым было приказание командиру жандармского дивизиона немедленно отправиться с дивизионом в Царское Село в распоряжение дворцового коменданта для несения разведывательной службы.

Генерал Казаков доложил, что люди и лошади сутки ничего не ели, так как казармы дивизиона из числа первых были заняты бунтовщиками. Кроме того, лошади не подкованы на острые шипы, и что в таком состоянии разведывательную службу, пройдя 25 верст, дивизион нести не может. Генерал Хабалов выслушал и не настаивал. Приблизительно через час нашего пребывания во Дворце было получено приказание от имени великого князя Михаила Александровича, прибывшего только что во Дворец, вывести из Дворца наряды.

Уныние полное. Куда идти? Я предложил занять Петропавловскую крепость и там отсиживаться, ожидая подхода войск.

Ответ: в крепости гарнизон тоже близок к бунту.

Решено опять возвратиться в Адмиралтейство. Шли тем же путем. Мороз крепчал. В Адмиралтействе после хорошо нагретых дворцовых помещений - было холодно и неудобно. Зашли в какую-то маленькую комнату, уселись на стулья, склонили головы на стол и задремали. Генерал Хабалов со штабом расположились отдельно.

Был в начале 5-й час ночи (утра).

28 февраля

В 8-м часу утра полковник Левисон взволнованно доложил, что, выйдя проверять наряды, он, к удивлению своему, увидел, как воинские чины складывают в кучу оружие и затем строем при офицерах расходятся по казармам. Выйдя в коридор, я убедился от спешащих к своим частям офицеров, что они получили приказание сложить оружие и вести свои части по казармам. В случае промедления, гарнизон Петропавловской крепости откроет артиллерийский огонь по Адмиралтейству. Генерала Хабалова видно не было.

Я приказал начальнику Резерва объявить чинам полиции, что, ввиду роспуска войск, они также свободны. Могут, присоединившись к войскам, идти в участки

или по своим квартирам - это их дело. Все оружие должны сложить в те же места, где складывают воинские части. Я остаюсь здесь, но никого с собой не связываю, так как не сомневаюсь, что с минуты на минуту буду в лучшем случае арестован. Через 20 минут я спустился во двор. Лошади без людей стояли голодные, понура головы. Две были убиты шальными пулями. Нарядов во дворе уже не было видно. В главном входе с Дворцовой площади артиллеристы тащили и сваливали в общую кучу последние оружейные замки. Полковник-артиллерист обратился к стоявшей тут же в строю, точно при погребении, команде с речью. Голосом с надрывом, опираясь на костыль, он старался что-то объяснить солдатам и выйти из тягостного положения. Я поспешил уйти подальше от этой ужасной сцены.

Кто-то сказал, что заведывающий помещением потребовал освободить все занимаемые комнаты; нам же предоставляется наверху чайная комната.

Подымаясь наверх, из окна увидел, как батарея в порядке, при офицерах вытягивалась из ворот Адмиралтейства. Народа на площади было еще мало. Подошел помощник начальника Морского штаба и любезным тоном передал мне и генералу Хабалову приглашение на чай к начальнику штаба адмиралу Стеценко. Посмотрев на совершенно изголодавшихся сослуживцев, я спросил: "А моих сотрудников приглашение касается?" - "К сожалению, столовая начальника штаба мала и не может всех вместить".

Идти пришлось на противоположный конец Адмиралтейства к памятнику Петра. Шли молча. Пока во дворах еще был порядок. Адмирал Стеценко и его супруга приняли нас очень любезно и даже участливо. Наконец нашлись люди, не боящиеся нашего присутствия. В маленькой комнате, выходящей окнами во двор, стоял маленький стол, накрытый на шесть приборов. Постоянной столовой воспользоваться было нельзя - залетали пули. Присутствовала еще одна дама англичанка, жена морского офицера. Она все время очень подробно рассказывала с сильным акцентом, насколько не волнуясь, о нападении прошлой ночью на отель "Асторию", где она проживала. Толпы вооруженных, большей частью пьяных солдат, матросов и евреев врываются в номера, проверяли документы, отбирали оружие у офицеров, попутно крали, что могли, и так продолжалось всю ночь.

Как ни приятно было гостеприимство добрых людей и как ни своеобразен и интересен был рассказ англичанки, но надо было возвращаться на лобное место. Поблагодарив, я отправился обратно. генерал Хабалов молча, как автомат, не отставал от меня. Чувствовалось, что положение сильно ухудшилось: улица, узнав о роспуске войск, хозяйничала уже непосредственно у Адмиралтейства. Слышались радостные крики: "ура", пальба шла вовсю. Пули целкали по крышам и по двору. Лошади все уже были выведены, и на них гарцевали по площади какие-то чуйки. Из ворот бросился ко мне с искаженным от страха лицом какой-то человек с криком: "Спасите меня, ваше превосходительство". Ошеломленный и не понимая, в чем дело, спросил: "Кто вы такой и кто вам угрожает"... - "Я - жандармский офицер из наряда... спасаюсь от толпы... они едва не растерзали меня... я спрятался к дворнику... он дал мне шапку и пальто... они сейчас ворвутся и прикончат меня... спасите". - "Если вас увидят со мной в таком виде - будет плохо. Спасайтесь, пока свободен еще выход, и затеряйтесь в толпе". Переодетый офицер, не говоря ни слова, бросился в ворота.

Сослуживцев своих застал в пустой чайной комнате, заведывающий чайной еще не пришел, они сидели за пустыми столами и заглушали голод папиросами. Сознавая, что конец наш близок, я предложил им разоружиться, сложив в общую кучу оружие, и ожидать своей участи. Советовал также тем в особенности, кто не в полицейской форме, попытаться пробраться домой. Никто не пожелал. Все остались, и мы, сложив оружие, опять уселись в чайной на третьем этаже. За

нами все время ходили молча генерал Хабалов и начальник его штаба.

Н.Ф.Акаемов вышел с целью купить для нас продукты, но, когда возвратился - нас уже не застал. Все остальные, а именно: генерал Вендорф и генерал Казаков, камергер Лысогорский, ротмистр Игнациус и полковник Левисон - остались в Адмиралтействе. Начались разговоры: добудет ли Акаемов еду и пропустят ли его к нам. Уныния не было: на людях и смерть красна!.

Прошло минут 20, и вдруг... Шум толпы во дворе, топот многих ног по широким и отлогим лестницам и крики: "Дальше... выше... беги сюда... куда спрятались". И толпа ворвалась и заполнила всю комнату. Мы встали. Из толпы выделились три фигуры: прапорщик в стрелковой форме: пьяное, сизое, одутловатое лицо, все в прыщах, глаза заплавленные с жиру. В руках держал большой маузер, который он поочередно наводил в упор на наши физиономии. Одет был по форме во все новое походное снаряжение. Другой - совсем молоденький солдатишка, белый, с прекрасным нежным цветом лица, тоже одет хорошо, но не по форме, в расстегнутом пальто с красными погонами и выпушками. Был пьян. В руках держал обнаженную офицерскую шапку с анненским темляком, страшно размахивал ею над нашими головами и по временам делал вид, что хочет заколоть нас. Кричал он больше всех и упивался ролью вождя восставшего народа. Между этими двумя стояла все время меланхолично совсем смиренная с проседью баба. Была опоясана поверх длинного пальто шашкой на новом широком ремне.

"А дж тут промежду вас Хо-бааа-лов", - заорал солдатишко, размахивая шашкой.

"Где Хобалов", - повторил прапорщик и навел на меня револьвер.

"Генерал Хабалов был с нами, но недавно ушел, а куда - не знаю", - ответил я. И, действительно, Хабалов перед тем, как ворвалась толпа, исчез.

Пьяные солдатишко и прапорщик, вытаращив глаза, смотрели грозно на меня и не успели еще разинуть рты, как я громко, чтоб вся толпа услышала, сказал: "А вот я градоначальник. Арестуйте меня и ведите в Думу", - и пошел вперед из комнаты. Мне дали дорогу, раздался крик радости, и вся толпа бросилась за мной. Кто-то крикнул: "Надо отобрать от них оружие". - "Вот наше оружие", - указал я на кучу винтовок, к счастью, до сих пор еще лежавшую в коридоре.

Я быстро спускался по лестницам. Все сослуживцы мои, не отставая, держались вместе.

Генерал Хабалов в коридоре незаметно присоединился к нам. Большинство из толпы увлеклось разбором сваленного в нескольких местах оружия и начали отставать от нас.

Быстро пройдя к ближайшим воротам к стороне адмиралтейского сквера, что против Градоначальства, мы завернули налево, и здесь нас остановили. Стояло два громадных грузовика-платформы. "Влезайте". Задача не из легких. Напрягая усилия, я влез и сел рядом с шофером. Генерал-лейтенант Вендорф, почтенного возраста, не мог взобраться. С руганью несколько дюжих парней швырнули его на мои колени. Остальные поместились кое-как на платформе сзади нас. Толпа гоготала, ругала нас, кричала "ура".

Шофер дал ход. Грузовик рванул и сразу налетел на чугунную тумбу, выворотил ее, но и сам испортился и, несмотря на все усилия расшвирипевшего шофера, не двигался с места.

В это время мимо Градоначальства из Гороховой улицы выскочил автомобиль и открыл стрельбу из пулемета. Окружавшую нас толпу охватила паника. Все бросились на землю, и началась беспорядочная стрельба во все стороны. Ясно и теперь помню почтенную фигуру мужика, старика в валенках, ставшего по правилам на одно колено и изо всех сил старавшегося зарядить винтовку, но, по видимому, система оказалась ему незнакомой, и он вертел винтовку во все

стороны, - так и не выстрелил. Вблизи меня, сзади, раздался выстрел. Я почувствовал струю теплого воздуха справа. "Господи, хоть бы скорей прикончили", - глубоко вздохнув, сказал полковник Левисон и крепко прижался ко мне. Были слышны стоны, ругательства.

Стрельба продолжалась минуты две. Наконец стреляющий автомобиль проскочил дальше. Толпа сейчас же поуспокоилась.

"Убирайтесь к чертям, машина испортилась", - крикнул шофер. С возможной быстротой, помогая друг другу, соскочили мы с грузовика.

На втором грузовике, где уже сидели генерал Хабалов, Тяжелников и Лысогорский, места хватило только генералу Вендорфу. Грузовик тронулся по Невскому, а мы остались стоять. Положение незавидное. К счастью, толпа, еще ошалевшая от перестрелки, не особенно обращала на нас внимание. Я крикнул: "Ну, если нет автомобиля, ведите нас в Думу - пешком порядком." Я быстро пошел, желая избежать Невского, на Дворцовую площадь. Несколько вооруженных человек окружили нас, и мы вышли на поворот к Дворцовому мосту. Здесь, на наше счастье, наткнулись на автомобиль с частной публикой. Наши конвоиры, которых не особенно радовала перспектива идти пешком далекий путь, быстро высадили пассажиров и крикнули нам: "Живо садись". Я сел на главное место, рядом со мною поместился генерал Казаков, сидение было испорчено, и мы сидели почти на дне кузова. Против, лицом к нам, на каких-то тюках, по-видимому, с удовольствием, уселись полковник Левисон и ротмистр Игнациус. Автомобиль облепили солдаты и частные лица. Рядом со мной на подножке стоял солдат, высоко подымая и потрясая ружьем. Все стреляли вверх, кричали "ура" и махали оружием над нашими головами. Солдат, стоявший около меня, пытался все время взять на себя роль руководителя. Он неистово орал: "Товарыши. Да нестреляйтеж, не стыряйтеж. Берегитеж патроны. Оны вам ешо прихоятся". Его мало слушали. Крики и стрельба продолжались все время. Выехали на Дворцовую набережную, почти пустынную, и пошли быстрым ходом мимо грандиозно строгой линии дворцов. Вахтеры и дворники молча и сочувственно, как мне казалось, смотрели на нас. Я почти каждый день ездил по набережной, и они знали меня в лицо. У Зимнего дворца навстречу нам шли два английских офицера. Одною я знал хорошо в лицо, фамилию забыл, но фигуру его, необычно длинную и поджарую, знал каждый, кто бывал в "Астории". Так вот этот офицер своеобразно приветствовал нас. Он остановился, повернулся к нам лицом, засунул руки в карманы и, отгибаясь назад во все свое длинное туловище, разразился громким хохотом, а потом что-то кричал и указывал на нас пальцем. В это время ротмистр Игнациус, всего три дня назад назначенный из Москвы на должность штаб-офицера при градоначальнике, привстал во весь свой тоже большой рост на автомобиле, приложил руку к козырьку и, обращаясь ко мне, сказал: "Ваше превосходительство, вам неудобно сидеть, позвольте, я передвину тюк". Не знаю, подействовал ли этот красивый жест на просвещенного мореплавателя, но на конвоира подействовал, и он еще громче заорал: "Да не стыряйтеж, по-русски вам сказываю".

Перегруженный автомобиль скрипел, лязгал на сугробах рессорами, два раза останавливался, но, на наше счастье, на пути публики было очень мало: все находилось на Невском. Мы благополучно выехали на Таврическую улицу. Чем ближе к Думе, тем больше народу. Посреди улицы стояла без призора допотопная пушка. По-видимому, ночью боялись нашего наступления.

Навстречу попалась нам кавалькада: группа молодых офицеров-артиллеристов в сюртуках, с большими красными бантами на груди. Им доставляли большое удовольствие крики приветствия толпы. Они раскланивались на обе стороны.

У въезда в Государственную Думу и за решеткой стояла плотная масса народа. Автомобиль наш, заворачивая с улицы к подъезду, остановился. Опять что-то

испортилось. Толпа ринулась к нам и обступила автомобиль со всех сторон. Раздались ругательства. Вблизи меня очутился, судя по внешности, пьяный дворник. Он сделал из пальцев рога и старался ткнуть меня в глаза, причем каждый раз мычал: "Гы, гы, гы". Ему не удавалось меня достать, и он лез все ближе и ближе. Окружавшим это нравилось, они от души смеялись и этим еще больше подзадоривали его. Шофер прилагал все усилия, но машина упрямылась. Положение стало совсем скверное. Я повернулся спиной к наступающему и был в положении человека, ожидающего, что вот-вот его ударят по голове. Слышу сзади голоса: "Это градоначальник генерал Балк". Поворачиваюсь и глазам не верю. Сзади, между толпой и нашим автомобилем, спокойно, но настойчиво протискиваются студенты Военно-медицинской академии. Вот им-то мы и были обязаны избавлением от оскорблений, а может, и смерти.

Наконец автомобиль рванулся, сделал полукруг, остановился у главного входа в Думу, и мы без задержки быстро прошли внутрь, куда именно - не помню. Комната большая, заставленная столами, а за ними победители - преимущественно еврейская молодежь. Два субъекта из молодежи устремились ко мне и стали задавать вопросы. Узнав, что я градоначальник, один из них с негодованием сказал: "А вы бы, градоначальник, отдали сейчас же приказание вашей полиции прекратить расстрелы из пулеметов безоружного народа. Я был так этим озадачен, что в первую минуту не понял, в чем дело, и переспросил: "Из каких пулеметов?" - "Вам лучше это знать," - с ядовитой иронией вскричал юноша.

"Товарищ, товарищ, - остановил его другой еврей, - теперь полная свобода слов и действий. Не оказывайте давления на градоначальника, - и, обращаясь ко мне, *добавил* любезным тоном, - генерал, вы арестованы. Конвой доставит вас к месту заключения".

Меня и генерала Казакова отделили от наших спутников. Мою просьбу не раздвигая нас - не уважили и повели по длинному светлomu коридору в так называемый Министерский павильон, а их на второй этаж, где, как оказалось впоследствии, их постигла участь несравненно лучшая нашей. Конвой наш, 8 человек, состоял частью из солдат с винтовками, а частью из евреев-юношей, делающих революцию. Только что выпущенные из тюрем, они с особенным увлечением вместе с солдатами отбивали шаг по узкому коридору. Опясаные патронными лентами, держа высоко в вытянутых руках револьверы самых ужасающих систем, они упивались своей великой исторической ролью - идти во главе революции.

Итак, мы маршировали на славу. При входе в павильон у дверей сидел на стуле в коридоре бледный, изнеможенный, в белом клобуке и панагии, Петроградский митрополит Питирим. Я неожиданно остановился против него и громко сказал: "Владыко, благословите меня". Еврейская молодежь, занятая маршировкой, не ожидала этого, изумленно поводила глазами. Один из них продолжал держать револьвер в вытянутой руке.

Митрополит благословил меня и генерала Казакова. Затем открылась дверь в большую, ярко освещенную солнцем комнату, где уже сидели за большим столом несколько арестованных министров, мы переступили порог и попали в царство старшего унтер-офицера 4 роты Преображенского полка изверга Крумлова.

**Список
потерпевших чинов петербургской столичной полиции во время
беспорядков 23-28 февраля 1917 г.**

Чин, имя, фамилия	Ранения	При каких обстоятельствах
23 февраля		
1. Старший помощник пристава Каргельс	Тяжелое ранение в голову	Из толпы твердым предме- том по темени. При задер- жании им рабочего, отняв шего ключ у вагоновожа- того.
2. Младший помощник пристава Гротгус (1-й Выборгской части)	Раны в затылке, пять ушибленных ран в голову и поранение носа.	Разгонял толпу, направ- ляющуюся на Финляндский вокзал.
3. Околоточный Башев	Избит толпой, перелом челюсти	Разгонял толпу у механи- ческого завода на Кор- пусной улице Петроград- ской стороны.
4. Околоточный Смирнов	Удар доской по руке, перелом лучепастного сустава	Препятствовал толпе вор- ваться на Невскую бума- гопрядильную фабрику.
24 февраля		
5. Помощник пристава 2-го участка Васильев	Из толпы бросали кусками льда. Причинили две глубокие раны головы.	Требовал беспрепятст- венного движения трам- вая на Петербургской стороне.
25 февраля		
6. Суворовского участка городской Франц Вах	Толпа отняла шашку и револь- вер, нанесла раны на лбу и выбила 2 зуба	Стоял на посту

7. Полицеймейстер полковник Шалфев	На Выборгской стороне у кли- ники Вилье тол- па сбила с ног и нанесла палка- ми и ломом раны: перелом лучевой кости, раздроб- ление переносицы и несколько ран головы.	Сделав заслон из кон- ных городовых, подошел к толпе и предложил разойтись.
8. Городовой Мослачев	Избит толпой	Разгонял толпу, избив- шую полковника Шалфева. Задерживал разбегающих- ся арестованных лиц.
9. Полицейский надзи- ратель Троиников	Тяжелые побои толпой до по- тери сознания.	На набережной Екатери- нинского канала*
10. Городовой Илья Кулемин	Ранен пулей в живот	На углу Пушкинской и Невского.
11. Нефед Павлов	Ранен пулей в голову.	Угол Невского и Влади- мирской ул. Толпа хотела обезоружить (защищался).
12. Помощник приста- ва Юхневич	Избит толпой.	Наводил порядок на Знаменской площади.
13. Полицейский надзи- ратель	Ранен в правое плечо навывлет.	Стреляли из толпы, окужавшей Павловскую роту и ранившую полков- ника Экстена.
15. Городовой Коджа	Жестоко избит.	
16. Пристав Старонев- ского участка Крылов	Убит колющим оружием сзади.	
17. Разъезд конных	26 февраля	
18. городовых	Ранены	
	27 февраля	
	28 февраля	

* Далее два слова неразборчиво.

Приводим краткие биографические сведения об упоминаемых в "Дневнике" лицах. К сожалению, не обо всех из них такие сведения удалось собрать.

Безобразов Владимир Михайлович - генерал-адъютант, генерал от кавалерии;
командовал Гвардейским корпусом.

Умер в Ницце 17 сентября 1932 г.

Беляев Михаил Алексеевич - генерал от инфантерии по Ген. штабу.

Родился в 1863 г.; закончил 3-й СПб классич. гимназид, затем Михайловское артиллерийское училище и Николаевскую академию Ген. штаба. С 1 августа 1914г. - исполняющий должность начальника Ген. штаба, а с 23 июня 1915 г. - помощник военного министра с оставлением в прежней должности. С 3 января по 27 февраля 1917 г. - военный министр.

Расстрелян в 1918 г.

Вейо Владимир Карлович - действительный статский советник.

Родился в 1864 г.; закончил Палеский корпус, службу начал корнетом в 36 драгунском Ахтырском полку. С 1904г. -член Вологодского губернского присутствия и член губернской землеустроительной комиссии. В 1916 г. - уполномоченный по продовольствию в Петрограде, а с 20 февраля 1917 г. - член совета министерства земледелия.

Умер 24 апреля 1929 г. в *Лонг* /Франция/.

Вендорф Оскар Игнатьевич - генерал-лейтенант.

Родился в 1849 г.; закончил Тверское кавалерийское училище. С 1868 г. - корнет в 5 Литовском уланском полку; в 1881 г. переведен в штат СПб полиции исполняющим должность старшего помощника пристава, с 1895 г. - полицмейстер СПб столичной полиции, а с 26 января 1904 г. по 27 февраля 1917 г. - помощник СПб градоначальника по наружной полиции.

Винберг Федор Викторович - шталмейстер двора, полковник лейб-гвардии Уланского полка. "С полковником Ф.В. Винбергом я вместе сидел в Киевском Педагогическом Музее под арестом у петляровцев в декабре 1918 года. Должен сказать, что при переговорах с петляровцами в музее Ф.В. Винберг держал себя с исключительным достоинством." /Роман Гуль. Я унес Россию., т.2. "Россия во Франции", Н.-Й., 1984, стр.69/ В эмиграции - член Рейхенгальского монархического съезда. Впоследствии один из идеологов фашистских организация среди русской эмиграции в Германии.

Умер 14 февраля 1927 г. в *Смелл* /Франция/.

Галле Владислав Францевич - генерал-майор.

Родился в 1862 г.; закончил 2-й СПб военную гимназид, Елиз. кавалерийское училище и офицерскую кавалерийскую школу. Службу начал в 1884 г. корнетом в 18 драгунском Клястицком полку. С 1888 г. - по ведомству МВД: сначала помощником пристава, затем исполняющим должность пристава, затем исполняющим должность начальника резерва СПб столичной полиции. С 24 октября 1909 г. по 27 февраля 1917 г. - полицмейстер СПб столичной полиции, заведующий Петроградской конно-полицейской стражей.

Гвоздев Кузьма Антонович - родился в 1883 г. в Пензенской губернии в крестьянской семье. В годы войны - социал-демократ оборонец; в 1914 г. в Петрограде принял участие в движении по организации рабочих потребительских обществ, с 1915 г. - член рабочей группы Военно-Промышленного комитета. Во Временном правительстве - товарищ министра труда, затем министр труда. В октябре 1917 г. арестован, затем освобожден, боролся за создание однородного социалистического правительства. С 1920 г. на работе в ВСНХ. "Гвоздев стал одним из мучеников-долгосидчиков ГУЛАГа. Первый раз чекисты хватали его в 1919 г., но он сумел ускользнуть (а семью его долго держали в осаде, как под арестом, и детей не пускали в школу). Потом арест отменили, но в 1928 г. взяли окончательно, и с тех пор он непрерывно сидел до 1957 г. В этом году вернулся тяжело больной и вскоре умер" /Александр Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ. т. I, ч. I, стр. 287-288, М., 1991/.

Глобачев Константин Иванович - генерал-майор Отдельного корпуса жандармов. Родился в 1870 г., закончил Полоцкий кадетский корпус, затем I военное Павловское училище и 2 класса Николаевской академии Ген. штаба. Службу начал в 1889 г. подпоручиком Кексгольмского гренадерского полка. В 1903 г. переведен в Отдельный корпус жандармов. С II февраля 1915 г. по 27 февраля 1917 г. - начальник Отделения по охране общественной безопасности и порядка в Петрограде.

Голицын Николай Дмитриевич /1850 - 1925/ - князь, действительный тайный советник. Закончил Александровский лицей, с 1871 г. - по ведомству МВД. Последовательно назначался Архангельским /1885 г./, Калужским /1893 г./ и Тверским /1897 г./ губернаторами. В 1915 г. - член Государственного совета, председатель комитета по оказанию помощи русским военнопленным, находящимся во вражеских странах. С 27 декабря 1916 г. по 27 февраля 1917 г. - председатель Совета министров.

Григорович Иван Константинович - генерал-адъютант, адмирал. Родился в 1853 г. После окончания морского училища начал службу мичманом. Во время кампании 1904 - 1905 г.г. - командир крепости Порт-Артур. С 19 марта 1911 г. - морской министр, в февральские дни арестован не был, продолжал службу до октября 1917 г. Эмигрировал в 1923 г. Умер 3 марта 1930 г. в Ментоне /Франция/.

Григорьев Георгий Николаевич - генерал-майор. Родился в 1868 г. Закончил Псковский кадетский корпус и I военное Павловское училище, службу начал в 1887 г. подпоручиком в СВБ гренадерском полку. С 2 июня 1904 г. по 27 февраля 1917 г. - полицмейстер СПб городской полиции.

Гротен Павел Павлович - свиты его величества генерал-майор. Родился в 1870 г. Закончил Воронежское реальное и Николаевское кавалерийское училища. С 1893 г. - корнет лейб-гвардии Гусарского его величества полка. С июня 1912 г. - командир I гусарского Сумского полка, а с октября 1915 г. - командир лейб-гвардии Конно-гренадерского полка. В 1917 г. замещал генерала В.Н. Воейкова в Царском Селе в должности дворцового коменданта /Александровский дворец/.

Гучков Александр Иванович - статский советник. Родился в Москве 14 октября 1862 г. Основал "Совз 17 октября", являлся в разное время членом Гос. Совета, членом и председателем В Гос. Думы /фракция ок

тябристов, город Москва/, в 1916-1917 гг. - председатель Военно-Промышленного комитета. 2 марта 1917 г. вместе с В.В. Шульгиным ездил в Псков, привез от- речение Николая II, затем присутствовал в совещании с великим князем Михаилом Александровичем, окончившемся отказом последнего от престола. 2 марта - 30 апреля 1917 г. - военный и морской министр Временного правительства.

Умер в Париже 14 февраля 1936 г.

Добровольский Николай Александрович - тайный советник, егермейстер, сенатор.

Родился в 1854 г. Закончил СПб университет и отбыв воинскую повинность в ка- валергардском полку, начал в 1876 г. службу по судебному ведомству. В 1899 г. был назначен Гродненским губернатором. С 20 декабря 1916 г. по 27 февраля 1917 г. - министр юстиции.

Умер в 1918 г. Воспоминания его жены Ольги Дмитриевны /урожденной кн. Друц- кой-Соколинской/ опубликованы в "Новом журнале" /Нью-Йорк/ книга II4, 1974г.

Занкевич Михаил Ипполитович - генерал-майор.

Родился в 1852 г. Закончил Псковский кадетский корпус, I военное Павловское училище, Николаевскую академию Ген. штаба. Службу начал в 1893 г. подпоручи- ком лейб-гвардии Павловского полка. В 1913 г. - командир I43 пехотного Цари- цинского полка. С 1916 г. - исполняющий должность начальника Ген. штаба.

Игнатъева Софья Сергеевна, графиня /урожденная кн. Мещерская - дочь кн. Сергея Васильевича Мещерского/.

Ее муж, гр. Алексей Павлович Игнатъев /1842 - 1906/, убит в Твери с.-р. Иль- инским. Петроградская домовладелица /8 домов/. Сторонница епископа Гермогена и иеромонаха Илиодора, противница Распутина.

Казаков Матвей Иванович - генерал-майор.

Родился в 1858 г. Закончил Орловско-Бахтинскую военную гимназию и Елизавет- градское кавалерийское внкерское училище. Службу начал в 1878 г. корнетом в 9 уланском Бугском полку. В 1888 г. переведен в Отдельный корпус жандармов. С 19 марта 1910 г. до 27 февраля 1917 г. - командир Петроградского жандарм- ского дивизиона.

Киршичников Тимофей Иванович - родился в 1892 г. В феврале 1917 г. - младший офицер в учебной команде запасного батальона Волянского полка. I апреля 1917г. как возглавивший восстание награжден Георгиевским крестом IV степени и произ- веден в подпрапорщики, а 7 мая в прапорщики.

По некоторым сведениям, расстрелян во время Гражданской войны по приказу ге- нерала А.П. Кутепова.

Крылов Александр Евстигнеевич - полковник по армянской пехоте.

Родился в 1862 г., закончил Чугуевское пехотное внкерское училище, службу на- чал в 1882 г. прапорщиком в Петропавловском местном батальоне. В 1917 г. - участковый пристав СПб столичной полиции.

Убит в февральские дни.

Лашкевич Иван Степанович - штабс-капитан.

Потомственный дворянин Черниговской губернии, родился в 1891 г. Закончил Полтавский кадетский корпус и Александровское военное училище. Службу начал в 1911 г. подпоручиком в Волянском полку. С 1914 по май 1916 г.г. находился на фронте. В августе 1916 г. назначен командиром учебной команды запасного батальона Волянского полка, в сентябре произведен в штабс-капитаны.

Убит в февральские дни.

Лелянов Павел Иванович - действительный статский советник, СПб I гильдии купец.

Родился в 1850 г. в семье потомственных почетных граждан, закончил частный пансион. Женат на А. П. Елисейевой из известной купеческой семьи. В 1908-1912 и 1916-1917 гг. - СПб городской голова.

Умер 24 августа 1932 г. в Париже.

Литвинов Александр Владимирович - генерал-майор по армейской кавалерии.

Родился в 1860 г., закончил Николаевское кавалерийское училище, службу начал в 1879 г. В 7 драгунском Кинбурнском полку. С 1 октября 1896 г. по 1 марта 1900 г. - полицмейстер г. Древа. С 13 марта 1904 г. - СПб брант-майор. Впоследствии брантмейстер при фабрике Ленинградтекстиля имени Свердлова.

Умер в Ленинграде в 1925 г.

Лысогорский Владимир Владимирович /1866 - 1924/ - действительный статский советник в звании камергера.

Сын Тобольского губернатора. Закончил СПб университет. С 1890 г. - служба по линии МВД в департаменте общих дел. С 3 декабря 1907 г. по 27 февраля 1917 г. - помощник СПб градоначальника по административной части.

Кутепов Александр Павлович - в февральские дни полковник лейб-гвардии Преображенского полка.

Родился 16 сентября 1882 г. Активный участник Гражданской войны, с 1920 г. генерал от инфантерии. В эмиграции - руководитель "Внутренней линии" РОСС. Похищен 26 января 1930 г. агентами НКВД.

Макаренко Александр Сергеевич - генерал-лейтенант.

Родился в 1861 г. Закончил 1 воецкое Павловское училище и Александровскую военно-юридическую академию. Службу начал в 1879 г. в 12 артиллерийской бригаде. В 1908 - 1911 гг. - помощник начальника Главного военно-судебного управления. С 11 марта 1911 г. - главный военный прокурор и начальник Главного военно-судебного управления. 26 февраля 1917 г. предпринята попытка назначения его министром внутренних дел.

Мевер Петр Петрович - генерал-майор по армейской пехоте.

Родился в 1860 г. После окончания 1 военного Павловского училища службу начал прапорщиком в СПб гренадерском полку /1878 г./ С 1902 г. - Виленский полицмейстер. В 1905 - 1916 гг. - Варшавский обер-полицейстер. С 15 августа 1916 г. - Ростова на Дону градоначальник.

Оболенский Александр Николаевич - генерал-майор свиты е. в..

Родился в 1872 г., закончил Палеский корпус, с 1891 г. служил в лейб-гвардии Преображенском полку. В 1907 г. причислен к ведомству МВД. В 1908 г. - Костромской вице-губернатор. С 19 июля 1914 г. по ноябрь 1916 г. - Петроградский градоначальник. В конце 1916 г. отбыл на театр военных действий - назначен командиром пехотной бригады.

Умер 14 февраля 1924 г. в Париже.

Ольденбургский Александр Петрович - принц; генерал-адъютант, генерал от инфантерии по гвардейской пехоте; член Государственного совета, сенатор.

Родился в 1844 г. В 1890 г. основал в Петербурге Институт экспериментальной медицины. С 1914 г. - верховный начальник санитарной и эвакуационной части русской армии.

Умер 6 сентября 1932 г. в Биаррице /Франция/.

Павленков Владимир Иванович - полковник лейб-гвардии Преображенского полка.

Родился в 1865 г. Закончил СПб пехотное виерское училище и офицерскую стрел-

кову школу. В 1881 г. начал службу в 96 пехотном Омском полку, с 1906 г. - в лейб-гвардии Преображенском полку. В 1916 г. - помощник начальника запасного гвардейского батальона в Петрограде. В февральские дни, за болезнь начальника запасного гвардейского батальона генерала Чебыкина, начальник войсковой охраны Петрограда.

Питирим /в миру Павел Окнов//1858 - 1921/. Закончил Рижскую классическую гимназию и Киевскую духовную академию. С 1883 г. в монастыре. В 1891 г. - ректор СПб духовной семинарии, в 1913 г. - архиепископ Самарский, в 1914 г. - архиепископ Карталинский и Катехинский, епископ Грузии. С 1915 г. - митрополит Петроградский и Ладокский. Впоследствии Свято-Троицкой Александро-Невской лавры священно-архимандрит.

Покровский Николай Николаевич - тайный советник, член Государственного совета /с 1914 г./.

Родился в 1865 г., закончил СПб университет, в 1907 - 1914 гг. - товарищ министра финансов, с 21 января по 30 ноября 1916 г. - государственный контролер, с 30 ноября 1916 г. по 4 марта 1917 г. - министр иностранных дел /сменил Штумера/. Арестован в февральские дни не был. После эмиграции занимал кафедру финансового права в Ковенском университете.

Умер в Ковно 12 декабря 1930 г.

Протопопов Александр Дмитриевич - действительный статский советник.

Родился в 1866 г., закончил I Кадетский корпус и Николаевское кавалерийское училище. Службу начал в 1885 г. горнетом лейб-гвардии Конно-гренадерского полка.

Член II и IV Государственной Думы от Симбирской губернии /фракция земцев-октябристов/. С 1914 г. - товарищ председателя Государственной Думы, затем чл. Прогрессивного блока. С 18 сентября 1916 г. - управляющий МВД, а с декабря 1916 г. по 27 февраля 1917 г. - министр внутренних дел и главноначальник Отдельного корпуса канцармов.

Расстрелян ВЧК в 1918 г.

Рейнбот /Резвой/ Анатолий Анатольевич /1868 - 1918/ - генерал-майор по гвардейской легкой артиллерии.

Закончил Михайловское артиллерийское училище и Николаевскую академию Ген. штаба. Службу начал в 37 артиллерийской бригаде /1885 г./. В 1905 г. исполнял должность Казанского губернатора, в 1906 - 1907 гг. - Московский градоначальник. 30 октября 1907 г. - неудавшееся покушение на него с.-р. Фрумкиной.

11 ноября 1914 г. переименовал фамилию на Резвой. С декабря 1914 г. - начальник санитарной части одной из действующих армий.

Риттик Александр Александрович - тайный советник, сенатор /с 1916г./.

Родился в 1868 г., закончил Александровский лицей. С 1905 г. служил по Главному управлению земледелия и землеустройства: в 1905 - 1912 гг. - директор департамента земельных государственных имуществ; в 1912 - 1916 гг. - товарищ главноуправляющего землеустройством и земледелием; с 16 ноября 1916 г. - управляющий министерством земледелия; с 12 января по 27 февраля 1917 г. - министр земледелия.

Умер в Лондоне 15 июня 1930 г.

Родзянко Михаил Владимирович - действительный статский советник в звании камергера.

Родился в 1859 г., закончил Пажеский корпус. В 1877 - 1882гг. - корнет лейб-

гвардии кавалергардского полка.

Член **В** и **IV** Государственной Думы от Екатеринославской губернии /фракция октябристов/. С 22 марта 1911 г. - председатель **В** Гос. Думы. С 15 ноября 1912 по 27 февраля 1917 г. - председатель **IV** Гос. Думы. В Февральские дни - глава Временного комитета Гос. Думы. 7 марта 1917 г. назначен почетным комиссаром главного управления Красного Креста.

Умер 24 января 1924 г. в г.Београ /Сербия/.

Кирилл Владимирович /Романов/ - великий князь, внук Александра II, двоюродный брат Николая II, свиты е.в. контр-адмирал.

Родился 30 сентября 1876 г., закончил Морской кадетский корпус. В 1904 г. - начальник военно-морского отдельного штаба командующего флотом в Тихом океане /вице-адмирала Макарова/. Спасся с броненосца "Петропавловск". С 1915 г. по 6 марта 1917 г. - командир Морского гвардейского экипажа. В эмиграции в 1924 г. провозгласил себя российским императором Кириллом I.

Умер 12 октября 1938 г. в Париже.

Трепов Александр Федорович - егермейстер, сенатор /с 1906 г./, член Государственного совета /с 1914 г./.

Родился в 1864 г., младший сын бывшего СПб градоначальника Ф.Ф. Трепова /покушение В.Н. Засулич в 1878 г./ . Закончил Пажеский корпус. С 1915 г. -управляющий министерством путей сообщения. С 19 ноября по 27 декабря 1916 г. - председатель совета министров.

В эмиграции с 1921 г. член Высшего монархического совета /вокруг в.к. Николая Николаевича/.

Умер 10 ноября 1928 г. в Ницце.

Тягельников Михаил Иванович - генерал-майор.

Родился 25 сентября 1866 г. Закончил Петро-Павловский кадетский корпус, Николаевское инженерное училище, Николаевскую академию Ген. штаба. В 1905 г. - полковник, начальник штаба 16 пехотного полка, с 1914 г. - начальник штаба Петроградского военного округа.

Умер в Париже в ноябре 1933 г.

Фредерик Владимир Борисович - генерал-адъютант, генерал от кавалерии по гвардейской кавалерии.

Родился в 1838 г., образование получил домашнее, службу начал в 1856 г. в лейб-гвардии конном полку. В 1891 - 1893 гг. - шталмейстер, управляющий придворной коншенной частью. В 1897 - 1917 гг. - министр императорского двора и уделов. 2 марта 1917 г. в качестве министра двора скрепил отречение Николая II от престола.

Умер в Финляндии в 1927 г.

Хабалов Сергей Семенович - генерал-лейтенант по Уральскому казачьему войску.

Родился в 1858 г., закончил Михайловское артиллерийское училище и Николаевскую академию Ген. штаба. В 1914 - 1916 гг. - военный губернатор Уральской области, командующий войсками и наказной атаман Уральского казачьего войска. В 1916 - 1917 гг. - начальник Петроградского военного округа и с 5 февраля командующий войсками округа.

Умер в эмиграции в 1924 г.

Хогондоков Константин Николаевич - генерал-майор.

Родился в 1871 г., закончил Николаевскую академию Ген. штаба. В 1914 -1915гг

командир 2 бригады Кавказской туземной конной дивизии. С 1916 г. - военный губернатор Амурской области и наказной атаман Амурского казачьего войска.
Чебыкин Александр Несторович /1857 - 1920/ - генерал-лейтенант по гвардейской пехоте.

Закончил 2 военное Константиновское училище. В 1907 г. - командир лейб-гвардии стрелкового е.в. полка. В 1913 г. - командир I бригады 2 гвардейской пехотной дивизии. В 1916 - 1917 гг. - начальник запасного гвардейского батальона и войсковой охраны Петрограда.

Нафеев Михаил Петрович - полковник по полевой легкой артиллерии.

Родился в 1859 г., закончил 2 военное Константиновское училище, службу начал в 1876 г. в 27 артиллерийской бригаде. С 1888 г. по ведомству МВД. С 1906 г. - полицмейстер СПб столичной полиции.

ГЛЕБ СТРУВЕ

УТЛОЕ ЖИЛЬЕ

Избранные стихи 1915—1949 гг.

Второе, дополненное издание.

1978

Город великих соблазнов,
Бессонных белых ночей,
Таящий в заревах красных
Пророчества страшных дней!

Над мутной мглою каналов,
Оправленных в холод камней,
Пожарами зорь своих алых
Он встретит чужих королей.

А конь, что взвился в ожиданьи,
Опустит копыта вдруг:
Обломки разрушенных зданий
Погребут королей и слуг.

Лишь вечер означает на небе
Холодный закатный круг,
Мой город, как раненый лебедь,
Замрет, напрягая слух.

Когда же наступят сроки
И небо уронит звезду,
Император властный и строгий
Натянет тугую узду,

Чтоб снова прыжком безумным
Ускорить поступь времен.
— Отбрось ненужные думы,
Услышь пророческий звон.

1917

Петербург

Мы живем в тупом ожидании
И в тревоге за каждый час.
Перейти сокровенные грани
Не дано никому из нас.

И тревога все злей, все резче,
Кровью красною всходят цветы,
Собираются тучи зловещей,
И растут на могилах кресты.

Колокольного звона не слышим
И молитвы творим в тиши.
Подымаются выше и выше
Безысходные страхи души.

Черный, бледный монах у обедни —
Что пророчат его глаза?
Этот день будет день последний,
Никому не уйти назад.

1918

Пустынь Нила Сорского

Где та страна, когда-то виденная нами
И снящаяся нам издалека,
Где над зелеными поемными лугами
Плывут малиновые облака,
Где день и ночь поют, почти не умолкая,
Стозвоном бархатным колокола? . .

Где та страна — зеленое преддверье рая,
Где ты, душа, так счастливо жила?

1930

Б. Анрепу

В каком-то сне забытом это было —
А может, жизнь вдруг обернулась сном:
Вверху луна опаловым пятном
Над черным кружевом деревьев стыла,
И облако причудливое плыло,
Как чайка с переломанным крылом.

Вдруг бой часов нарушил тишину,
Прервав передвечерний сон природы.
Минуты медленно текли как годы,
Баюкая, уготовляя к сну.
И в небо хлынули отвсюду воды,
И льдинкою увидел я луну.

Она плыла в позеленевшем небе,
А мир земной под нею каменел.
И понял я, что радостный удел —
Забыть навеки о насущном хлебе,
Принять покорно нам сужденный жребий
И стынуть среди окаменевших тел.

1942

В. Ф. ХОДАСЕВИЧУ

1.

Деревья Кронверкского сада:
Невнятен голос был и глух,
Как будто некая ограда
От жизни отделила слух.

Очки поблескивали тускло,
Бросая пятна на лицо,
А на руке сухой и узкой
Желтело тонкое кольцо.

Но в голосе жила Психея —
Как бы нетронутый цветок! —
И стыло сердце, леденея
Под иглами морозных строк.

Невероятный твой подарок —
Быть может жизнь, быть может смерть.
Был голос глух и взор неярок,
Но потолок синел как твердь.

1922

Берлин

2

Тяжелая умолкла лира,
А в мире хаос и разброд.
Но сквозь года, глухой и сирый,
Все тот же голос мне поет.

Орфей, утратив Евридику,
Нисходит тихо в тихий ад,
И словно отгул песни дикой
Стихи загробные звенят.

— Орфей, Орфей, оставь надежду,
Ты Евридику не найдешь —
Утрачен драгоценный след.
Смежает ночь над миром вежды.
— Где истина? где Бог? где ложь?
Ответа нет. Ответа нет.

1943

Лондон

Памяти брата, о. Саввы

Чей-то памятник в образе склепа
И какие-то пушки кругом.
В беззащитной своей нагоде
Так прелестны деревьев тела.
Как большой голубой водоем —
Чтоб дивились его красоте —
Над землей опрокинуто небо,
И под небом земля так светла.

И, пред вестью о смерти растерян,
В это чистое зимнее утро
Созерцая надмирный простор,
Я так твердо, так сладко уверен,
Что над миром прелестным и утлым
Божий ангел ладони простер.

1949

Бостон

РУССКОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Я очень рад, что имею возможность с вами познакомиться и рассказать о нашем Движении. Многие слышали об РСХД, особенно через наш журнал "Вестник РСХД" (теперь он называется "Вестник РХД"). "Вестник" начал выходить в 1925 г. как внутренний орган нашего Движения, Движение же как таковое было создано осенью 1923 г. в Пшерове в Чехословакии, когда там собрались делегаты – представители разных кружков русской христианской молодёжи из Белграда, Праги, Софии, Берлина, Лондона, Парижа. Туда же приехали русские религиозные мыслители и богословы: Николай Александрович Бердяев, о.Сергий Булгаков, Антон Владимирович Карташов, будущие священники Василий Зеньковский и Георгий Флоровский, а также Николай Михайлович и Софья Михайловна Зёрновы из Белграда. Собравшихся было немного, всего лишь человек 30 – 35, но произошло что-то удивительное, чудесное.

С одной стороны молодёжь, с другой – богословы, мыслители, которые от марксизма через идеализм пришли к христианству ещё до революции. Встреча состоялась, и из этой встречи родилось наше Движение как движение православное и церковное. Очень важно подчеркнуть, что не все делегаты были люди воцерковлённые, но уехали они оттуда как деятели православного, церковного дви-

Доклад был прочитан М.А.Соллогубом, вице-председателем РСХД, на семинаре, посвящённом вопросам становления приходской жизни в России и выработке наиболее эффективных форм помощи Запада этому процессу. Семинар проходил осенью 1990 г. в деревне *Villy-en-Ville* во Франции. В нём принимали участие представители православных приходов из России, Германии, Франции, США, Австралии.

жения. Это произошло благодаря главным образом о.Сергию Булгакову, который был духовным руководителем этого Съезда. Литургия, кстати, служилась каждый день. /Об этом Съезде рассказывается в нескольких воспоминаниях, в частности, у Зёрновых: "Хроника семьи Зёрновых", об этом же статья о.Алексея Князева в "Вестнике"/.

Люди не были между собой знакомы. Молодёжь, пережившая революцию, гражданскую войну, эмиграцию, и крупные мыслители-интеллигенты. Было некоторое опасение с обеих сторон, но встреча оказалась плодотворной и в области церковной жизни имела большие последствия.

Работа Движения разрослась в разных странах, центром всего стал Париж, дом на бульваре Монпарнас 10. По благословению владыки Евлогия, который как глава церкви здесь очень поддерживал деятельность Движения, при нашем Движении был открыт храм. Первым его настоятелем стал отец Лев Липеровский. В Движении был, естественно, не только французский отдел, были отделы в других странах, в том числе в Германии, Прибалтике, Болгарии, Югославии.

Работа велась разносторонняя. Главная форма работы - кружки. Это фактически то, что происходит сейчас в России. Кружки были разные: библейский, литургический, богословский, литературный - т.о. затрагивались и общекультурные темы, но у каждого кружка была своя специализация. Члены этих кружков собирались раз в год на свои, местные съезды. И кроме того, раз в год, обычно летом, проходили общие съезды Движения, на которых определялись направления работы, проводились доклады, беседы. "Вестник РСХД" способствовал общению между разными кружками.

При Движении был Сектор социальной работы, которым заведовала Елизавета Юрьевна Скобцова, будущая мать Мария. Она была секретарём Движения по социальным вопросам в конце 20 - начале 30-х. В 1935 г. она создала своё "Православное Дело", а в 1945 г. мученически погибла в Равенсбрюке. Председателем Движения стал Василий Васильевич Зеньковский, а одним из секретарей Николай Михайлович Зёрнов.

Общение с Богословским институтом, основанным в 1925 г., деканом которого был о.Сергий Булгаков, было постоянным: фактически все преподаватели Богословского института были активными



Мученики "Православного Дела"

Мать Мария
/ + 31 марта 1945
Гавенсбрюк/

О. Дмитрий Клепинин
/ + 10 февраля 1945
Бухенвальд/



Протоиерей о.Сергий Булгаков

членами Движения, а многие участники Движения прошли через Бого-словский институт.

Началась работы с юношеством, сначала при содействии "Витязей", потом каждая организация стала самостоятельной. До сих пор при нашем Движении существует юношеский отдел.

В чём же основная идея Движения? Идея эта – т.н. "воцерковление жизни", т.е. восприятие церковной жизни как относящейся не только к религиозной части бытия человеческого, но и вообще ко всему человеку. Евангельское благовестие и наша вера не часть нашей жизни, а всё. Призыв к полному пониманию евангельской веры – вот главный акцент, который ставили "движенцы". Это имело очень большие последствия. Культурная сфера, история, социальная работа – всё это имеет отношение к церковной жизни, к деланию, к служению Христу в современном мире. Идея эта исходит от русского религиозного возрождения, от людей, которые хотели жить полной христианской жизнью, но в условиях современного мира, принимая во внимание все задачи, которые современный мир ставит перед человеческой совестью.

Я коснусь современной деятельности нашего Движения. Для этого надо напомнить, что историю нашего Движения, как и историю эмиграции, можно разделить на три периода.

– 20 – 30-е годы, до II мировой войны, – расцвет эмиграции. Тут, в Париже, активная, буйная интеллигентная и культурная жизнь. Когда католические богословы приходили на Сергиево подворье, они были просто поражены: такого сгущения, сбора таких умов, талантов не было нигде в Париже. Это и время расцвета церковной жизни – за 20 – 25 лет сколько было построено храмов! История русской эмиграции этих лет ещё не написана, это ещё предстоит. Этот расцвет не ограничивался только русской средой, это надо подчеркнуть, хотя русская среда была очень многочисленной в то время: несколько сотен тысяч человек. Можно было с утра до вечера находиться в русской среде: и к парикмахеру ходить, и в банк, и в свои лавки и магазины.

После войны дело обстоит несколько иначе, поскольку многие страны попали под коммунистическое иго, закрылись отделы нашего Движения, вся работа сконцентрировалась в Париже. Были попытки устроить Движение в Америке, даже в 1953 г. общий съезд нашего Движения созвали в Штатах, но организации живой, как во Франции,

в Америке не получилось, хотя многие деятели Движения переехали в Америку именно после II мировой войны: о.Александр Шмеман, Сергей Сергеевич Верховской, владыка Сильвестр, председатель нашего Движения с 62 по 80 год, был епископом Монреальским и Канадским. (О.Александр Шмеман стал председателем Движения после владыки Сильвестра.) Были связи с Америкой, но главным образом с некоторыми деятелями, в частности, тот же о.Александр Шмеман приезжал каждый год на наши съезды с докладами.

- 45 - 65 годы - период переходной. Развивается юношеский отдел, этим занимался Кирилл Александрович Ельчанинов, который теперь председатель нашего Движения. Устраивались лагеря - летние, зимние, пасхальные. Зимой - это т.н. "дружины РСХД" - с детьми проводятся каждую неделю по воскресеньям сборы с разными культурными и религиозными целями. Студенческая работа - кружки. Иван Васильевич Морозов, который был секретарём французского движения в течение 25 лет, вёл литературный кружок, библейский кружок под руководством Николая Анатольевича Куломзина, о.Пётр Струве имел экуменический кружок. 2 раза в год съезды - собирались скорее французы, проживающие во Франции члены Движения, в Бьевре, под Парижем, а потом в Монжероне. В 50 - 60-х г.г. собирались на съездах около 250 человек с лёгкостью. 50 - 60-е годы - это всё же не так давно, но, с другой стороны, большинство из старшего поколения, из тех, кто приезжал на съезды, родились в России - теперь уже такого поколения больше нет, из-за этого существенно изменилась жизнь нашего Движения и вообще эмигрантская жизнь. Есть демографические законы.

- 60-е годы - начинается третий период - когда Россия открывается, не как сейчас, конечно, но в общем появляется связь. Большую роль сыграл 61 год - год Французской выставки в Москве. Все наши туда поехали переводчиками, сотрудниками этой выставки. Посылали кого? - французов, но русских эмигрантов. Очутились там человек 50 наших деятелей. Это было очень большое событие для нас, для нашего Движения. Живая встреча нескольких представителей эмиграции с живыми русскими советскими людьми. Кирилл Александрович стал читать доклад о русской религиозной философии на этой выставке. Ему сказали: "Вы здесь представитель французской философии, а не русской". Был ему нагоняй и в "Правде". Но он вернулся абсолютно перевёрнутым, он понял, что все силы надо

направить на то, чтобы пересылать туда книги. На выставке он заведовал отделом французской философии, у него там постоянно крали эти книги – он только радовался. Кстати, когда на выставку явилась дочь видного советского деятеля и увидела, что там в основном русские эмигранты, она сказала в бешенстве: "Мы думали, что вас всех в Чёрном море потопили". Это 61 год.

Постепенно начал Кирилл Александрович своё дело, которое ведёт 30-ый год, – помощь верующим в России. Появилась живая связь, "Вестник" стал печатать статьи оттуда под псевдонимами, мы смогли переправлять какими-то путями книги туда, в Россию.

Это новый период – с одной стороны, открытие России, а с другой – смена поколений. Приходят как активные члены люди моего поколения, которые родились здесь, которые стремятся к установлению здесь православной церкви. Это тоже была идея о.Сергия Булгакова, который говорил: это Промысел Божий нам диктует, что мы на Западе должны свидетельствовать о православии, стараться создать православную церковь для обогащения христианской жизни здесь. К этому было много приложено усилий, был французский приход при РСХД очень давно, это нелегко было. Но идея "французского" православия стала активно проводиться именно в 60-е годы. О.Пётр Струве, старший брат Никиты Алексеевича, внук Петра Бернгардовича, "бородача" (так мой покойный дед Борис Константинович Зайцев звал Петра Бернгардовича), он был врачом, принял священство, стал первым настоятелем французского прихода в нижнем храме Собора Александра Невского. О.Борис Бобринский – его последователь в этом служении.

Условия т.н. "эмигрантской жизни" сейчас совсем иные. Наше поколение, мы не можем считать себя эмигрантами как таковыми. Мы русского происхождения, мы русские люди, но мы прожили здесь, так что мы не эмигранты, мы ниоткуда не эмигрировали, хотя не чувствуем себя и французами до конца. Русская эмигрантская среда сократилась, людей, которые родились в России, очень мало. Это надо понять. Кроме того, у русских эмигрантов было разное отношение к своему эмигрантскому состоянию. Некоторые хотели как можно скорее забыть Россию и своё русское прошлое. Вторая эмиграция, а тем более третья не стремились сохранить свою русскость и православие. Они разбросаны, не принадлежат ни к какой группе, между собой мало общаются. Вот помочь преодолеть это

разъединение должны наши летние лагеря. Мы приобрели недавно собственное имение в Альпах, в очень красивом месте. Территория 20 гектаров. Там дом, одно помещение превращаем постепенно в церковь с помощью о.Владимира Ягелло, который нам расписывает альфреско. (В течение 50 лет лагерь был в другом месте, в Сан-Теоффре, недалеко от лагеря "Витязей", но это не было нашей собственностью, и церковь мы устроить не могли — церковь была под палаткой.) Палатки, кстати, большие, на 12 мест, в них можно стоять. Принимаются дети с 7 до 16 лет в юношеский лагерь, и с 18 лет в студенческий. Сейчас он менее активный, потому что все студенты разбогатели, уровень жизни поднялся, они едут путешествовать, даже в Россию, или зарабатывать деньги. В юношеский лагерь собирается примерно 200 человек на месяц, обычно это июль. В наше время лагерь длился 2 месяца. У русских эмигрантов не было больших средств. Это была наша семья. Наши родные места. Дети разбиты на 8 отрядов по возрасту, отдельные отряды девочек и мальчиков. С ними живёт духовный руководитель. Вся жизнь строится вокруг церкви. Начинается день с молитвы, мы чередуем молитвы по-французски и по-церковнославянски. Потом подъём флага — в наше время был подъём флага каждый день, потом раз в неделю, многие считают, что это очень "военно". Поднимаем русский флаг и флаг нашего Движения. Форма простая, как скаутская, но темно-синяя, белые блузки для девиц. Утром занятия: Закон Божий, русский язык, прикладное искусство, пение, спорт. Вечером отрядная программа, прогулки игры, купание. Каждую неделю поход куда-нибудь в горы.

Говение, исповедь в субботу после обеда, по очереди все отряды. В воскресенье утром Литургия, обычно каждое воскресенье максимальное количество детей причащается. После Литургии т.н. "воскресная программа", вечером костёр, песни.

Работа продолжается и зимой. Т.н. "дружина" собирается по воскресеньям. Работает "средовая" школа, раньше была "четверговая". (Дело в том, что во Франции отведён один день на неделе, для того чтобы дети могли изучать Закон Божий, теперь в начальных школах дети отдыхают по средам.) Приходская (а при нашем Движении приход Введения во храм) русская школа работает каждую среду, дети изучают русский язык, русскую историю и географию, Закон Божий. Мы все прошли через эти русские школы. Нам очень

повезло: у нас преподавали мать Серафима (Антонина Михайловна Осоргина) и Кирилл Ельчанинов. Весь январь мы ходим с ёлки на ёлку – Рождество празднуем до начала февраля. Ёлка начинается в воскресенье днём пением тропаря, потом представление, отряды ставят спектакли, сказки, старшие играют более серьёзную пьесу. (В нашей русской школе тоже такие ёлки бывали – нами руководила бывшая актриса МХАТа Вера Михайловна Греч.)

Наше издательство. Все знают об издательстве ИМКА-ПРЕСС, оно перешло под руководство РСХД в конце 50-х г.г. Никита Алексеевич Струве – директор этого издательства и член Совета нашего Движения. Издаётся ещё журнал на французском языке "*Le Messager Orthodoxe*" под редакцией Н.А.Струве для православных, говорящих по-французски.

Отдел помощи верующим в России, которым руководит Кирилл Александрович Ельчанинов. Задача отдела в том, чтобы доставать средства, покупать книги и переправлять их в Россию. Сейчас условия совсем иные, и мы думаем, как перестроить нашу работу.

Кирилл Александрович начал с нуля, теперь бюджет довольно существенный: более 2,5 млн. франков. У нас теперь компьютеризованная картотека – 10 тыс. адресов. 4 раза в год мы рассылаем по этим адресам бюллетень, который я редактирую, с известиями из России, письмами, просьбами о книгах, благодарностями. Переводим на французский язык, печатаем, рассылаем, и люди откликаются. Католические монастыри очень много дают. Издаём открытки с видами русских церквей и русских икон, продаём 60 – 80 тыс. этих открыток в пользу верующих в России, выручаем довольно большие деньги. Обращаемся к разным фондам, католическим, протестантским, они жертвуют, хотя сейчас всё меньше и меньше. Каждый год устраиваем встречи с кем-нибудь из России (в этом году 25 ноября приедет о.Дмитрий Дудко), потом концерт духовного пения, выставка фотографий, потом служим православную вечерню. Рассылаются листовки-приглашения, около 1 000 человек приходит, мы получаем адреса. Когда средства собраны, тратить их довольно просто: главным образом на книги, хотя у нас теперь просят технику, компьютеры, лекарства, одежду; одежда – меньшая часть. Раньше у нас были разные каналы для переправки: по всему миру 150 "точек" – наши корреспонденты, которые имели ходы к дипломатам и морякам, они и переправляли разными способами. Теперь и проще, и сложнее.

Мы посылаем по почте по три книги – это очень кропотливая и сложная работа. Выдаём также советским туристам. Сейчас мы хотим изменить порядок. У нас несколько идей, первая из них: направлять большие посылки на сто килограммов не по почте, а грузовым транспортом прямо в приход в библиотеку и иметь при этом личную связь с настоятелем или проверенным лицом. А советским туристам выдавать только Евангелие, Молитвослов и Закон Божий, если хотят больше, пусть пишут от имени общины. Кроме того, открывается возможность печатать книги там, это, конечно, надо делать, это в сто раз дешевле, и мы ищем пути. Вопрос средств очень деликатный: с одной стороны, средства есть, с другой стороны, французы считают, что в Советском Союзе уже всё нормально, не следует больше помогать, а спрос возрастает в тысячи раз.

В заключение о нашей деятельности в области межправославных общений. Наше Движение принимало самое активное участие в основании "Синдесмоса" – это международная организация православной молодёжи, это единственное место, где православные люди из разных национальных церквей могут встречаться. К сожалению, другого такого места в православном мире, где могло бы проходить свободное общение, нет. Это очень важно для нашей молодёжи. Название взято из Апостольского послания: "Сохраняйте между вами союз любви". По-английский – "*Bond of Love*". Штаб организации находится во Франции у Александра Белопопского, до этого долгое время был в Финляндии, а ещё ранее в Ливане. Были очень интересные встречи с ливанскими православными, с греками, с американцами. В прошлом году Съезд был в Бостоне, а летом состоялся фестиваль православной молодёжи в Голландии.

На уровне западноевропейском мы участвуем в т.н. "Православном братстве в Западной Европе", которое было создано в 60-м году, для того чтобы сблизить православных людей в Западной Европе, потому что здесь, во Франции, православные люди разбиты на разные юрисдикции. Даже у русских три юрисдикции, кроме того, греки, сербы, румыны, ливанцы – всё это разные миры, очень долго они не имели возможности познакомиться друг с другом, встретиться. Это очень болезненная проблема диаспоры. Чтобы сблизить, познакомить православных людей, надо иметь общее служение, общее дело. Постоянную работу в этом направлении ведёт Иван Александрович Чекан, сын о.Александра Чекана, который был настояте-

лем Собора св.Александра Невского в Париже, внук генерала Миллера. Он закончил Богословский институт, редактирует ежемесячный журнал "СОР" - "Православная служба печати". Журнал издаётся на французском языке, даёт информацию о православной церкви во всём мире. Очень интересное издание. Каждые три года - Православный съезд Западной Европы. В этом году в ноябре очередной 9 съезд (а первый состоялся в 1971 г.). Съезжается человек 700 - 800 со всей Западной Европы. Это очень радостная встреча, где люди сознают, что они единое тело Христово. Собираются с семьями, устраиваются ясли, 4 дня живут все вместе, вместе молятся, переживают очень сильный литургический подъём. Это особенно много приносит провинциальным приходам, где службы реде, например, один раз в месяц, где постоянной приходской жизни нет. Молодые люди видят, что есть масса других молодых православных, и люди знакомятся...



... место человека во Вселенной"

+

3. IV. 1943

Дорогой Петр Бернгардович,
 благодарю Вас за весть о С.Л. Франке, которому прошу передать мой взаимный привет и благословение. Еще недавно я не мог ответить на запрос о его здоровье из *Nancy*, теперь напишу.
 Я получил из Москвы (не непосредственно) подтверждение печального слуха о кончине о. Павла Флоренского в изгнании (очевидно, в Соловках, где он последнее время находился). Я был очень потрясен этой вестью. Помните ли Вы встречу с ним в моем доме? После нее он выражал мне свои к Вам симпатии (в частности, к тембру Вашего голоса как Вы симпатично "скрипите"). Будущее воскресенье 11 апреля ровно в 4 часа дня в известной Вам аудитории Сергиевского подворья будут поминки о. Павла, с речами выступат, кроме меня (конечно, в чужом прочтении), о. Киприан Керн, о. Вас. Зеньковский, А.В. Карташев, Л.А. Зандер. Мы все были бы очень рады, если бы и Вы почтили этот день Вашим присутствием. Привет и благословение Нине Ал. и Аде.*

Любящий Вас

прот. С. Булгаков

* Адя - Аркадий Петрович Струве /1905 - 1951/.

+

Великий Четверг
9/22. IV. 1943

Христос воскрес!

Дорогие Нина Александровна и Петр Бернгардович! От себя и Елены Ив. шлю Вам пасхальный привет и благожелания. Прошу передать их и Аркадию. Простите за лаконизм, на большее не способен в эти дни. Обнимаю Вас и благословляю.

С любовью Ваш
прот. С. Булгаков

Елена Ив. - монахиня Елена /Е.И.Казимирчак-Полонская,
род. 1903/, в настоящее время живёт в Петербурге.

14 мая 1943

Дорогой, милый, родной Петр Бернгардович, люблю Вас по-прежнему, нет, даже больше, горячо прошу Бога, чтобы Он сохранил Вас всячески и сердечно целую вас всех, - и Вас, и дорогую Нину Александровну, и всех чад, и все потомство Ваше.

Весь Ваш

Ив. Бунин.

CARTE POSTALE



DESTINATAIRE

EXPÉDITEUR

M. ...

14.7.43

Дорогой, милый, родной Петр
Пернгардович, любил Вас по-
прежнему, и всё, да же больше,
горячо прошу Бога, чтобы Вы
Странии Вас всецелски и
сердечно любил Вас всецелски,
и Вас, и дорогую Милу Алек-
сандровну, и всецелски да же, и
все пожелал Вам.

Весь Вам
Ив. Букин

26 мая 1943

Дорогие Вера Николаевна и Иван Алексеевич!

Сегодня утром Нина Алекс. скончалась, и так кончилась наше 46-летняя совместная жизнь и более чем 50-летнее знакомство. Милые строки Ив. Алекс. я получил и от всей души благодарю.

Обнимаю вас. Душевно ваш

П. Струве.

29 мая 1943 года

Дорогой Петр Бернгардович,
сегодня пришла Ваша тяжелая весть. Мы после открытки Ляли* жили в тревоге за Нину Александровну.

Вы знаете, что мы всей душой с Вами, понимаем и разделяем Вашу горе. Жалеем, что мы так далеко от Вас.

Я, к моему большому сожалению, мало встречалась с Ниной Александровной. По-настоящему говорила с ней всего один раз, когда она была у меня. Но в тот вечер я почувствовала ее и сразу ее пленилась. Мне понравился голос, основной тон речи, ее радостное отношение к жизни, любовь к цветам. И мне стало грустно, когда ей надо было уходить домой. Я и не подозревала, что она такая прелестная. Потом мы виделись всего еще один раз в день ее отъезда, — Ляля пригласил меня к завтраку. И мне сейчас так горько, что я никогда не увижу и не услышу ее в этом нашем тяжелом мире.

Передайте Ляле, Аде, Екатерине Андреевне, Тане, Пете и Нине мое глубокое сочувствие.

Мне жаль очень бедного Глеба, как тяжело ему будет узнать об этом вдали от всех вас. Да и когда эта весть дойдет до него?

Отцу Савве все же легче. Напишите и ему от нас соболезнование.

Храни Вас всех Христос, да поможет Он Вам всем нести Вашу горе.

Обнимаю Вас с большой нежностью.

Душевно Ваша

В. Бунина.

Дорогой, милый друг, Вы ведь нам давно как родные, поэтому нечего говорить о моих чувствах к Вам в Вашей горе. Обнимаю Вас от всего сердца — всех, всех.

Ваш Ив. Бунин.

* Ляля — Алексей Петрович Струве.

29 мая 1943 года

Дорогой Петръ Бернгардовичъ,

сегодня пришла Ваша миленькая вѣстка.
Мы посла открытки Лени маме в три
часа за Книгу Александровну.

Вы знаете, что мы всей душой от души
покаиваем и разбиваем Ваше горе. Мы
знаем, что мы так далеко отъ Васъ.

Я, какъ моему большому социалитю,
мало встречалась съ Никой Александровной.
По настоятельномуговору
съ ней было однокъ разе, когда она была
у меня. но въ тотъ вечеръ я погубила
себя и сразу ея перенесъ. Мы
поправляемъ въ голое, основной зонт
раба, въ радости отъ относивше
къ жизни, любовь къ окружающ. И
мы стало дружно, когда ей надо бы-
ло уходить домой. Я и не подозрева-
ла, что она такая прелестькая. По-
томъ мы ваднили всю сиродикъ разе
въ день ея отъезда, — для прелестьки
меня къ завтраку. Мы и сиродикъ такъ
сиродикъ, что я никогда не узнаю и не
узнаю ея въ такомъ красивомъ тѣлѣ —
омае сиродикъ.

Передайте Аня, Ал, Екатерину
Андреевну, Таня, Петья и Никит мое
любое сочувствие

Аня она же очень близко знает, как
тяжко ему будет узнать об этом
Знаю отъ всехъ насъ. До и когда он
везде дайдетъ Боже?

Отъ Савва все же легче. Напишите
и ему отъ насъ соболезнование.

Драги Вася все же Христомъ, да по-
могаетъ Оля Вася все же кисти
Ваше горе.

Обнимаю Вася съ большой ктони-
костью.

Душевно Ваша

В. Бунинъ.

Дорогой, милая Анна, Все же
Нашъ давалъ какъ родное, посто-
му нечего говорить о любви
Судебныхъ къ Вамъ въ Вашемъ
гартъ. Обнимаю Вася отъ
всего сердца — все же, все же.

Вашъ Ив. Бунинъ

+

И. И. 944

Дорогой отец Сергей.

Близится по православному счислению Праздник Рождества Хр. и наступил Новый год. Я все это время собирался к Вам, но, может быть, если соберусь, то смогу осуществить свой приезд только в день Рождества. Во всяком случае примите мое дружеское приветствие и глубочайшую признательность за ту пастырскую духовную поддержку, которую Вы оказали покойной Антонине Александровне в последние месяцы ее земной жизни, и то слово, которое Вы произнесли над ее гробом. Эти Ваши пастырские действия мне незабываемы и скрепили нашу многолетнюю дружбу и ее, воистину, украсили.

Испрашивая Вашего благословения и святых молитв, от всей души лобзаю Вас любящий Вас П. Струве.

Пётр Бернгардович ненадолго пережил Антонину Александровну. Он скончался 26 февраля 1944 года. А 12 июля того же года скончался о. Сергей Булгаков...

Печ. по автографам, хранящимся в архиве Гуверовского института войны, революции и мира, фонд П.Б.Струве, вех 4.



«Евхаристия»
(шитье матери Марии)

В любые кандалы пусть закуют, —
Лишь был бы лик Твой ясен и раскован.
И Соловки приму я, как приют,
В котором ангелы всегда поют.
Мне каждый край Тобою обетован.*

Из стихотворения Матери Марии
"Парижские приму я Соловки".

Le Cimetière "Russe" et l'Église Orthodoxe
Notre-Dame de l'Assomption

à Sainte-Geneviève-des-Bois
(91700-Essonne)

Téléphone 015-11-44



ÉGENDE

L'Église orthodoxe
Notre Dame de
l'Assomption

ins la crypte
posent :

- le Bienheureux Père Alexis Medvedkoff
- les Métropolités Euloge et Vladimir
- les Archevêques Jean, Cassien et Methode
- des Archiprêtres.
- l'architecte de l'Église A.A. Benoïts et son épouse

- 2 Bureau de l'Administration
- 3 Le Presbytère
- 4 Maisonnette d'accueil

LES SÉPULTURES

- 5 Archiprêtre Serge Boulgakoff, Théologien et Fondateur de l'Institut de Théologie orthodoxe à Paris
- 6 L.A. Zander, Professeur à l'Institut de Théologie orthodoxe
- 7 Archiprêtre A. Kalachnikoff, 1^{er} Recteur de l'Église N.D.A.
- 8 V.A. Tréfilova, ballerine
- 9 V.A. Maklakoff, avocat et ancien Ministre
- 10 Chapelle et sépultures de jeunes Russes morts pour la France 1939-1945
- 11 N.N. Tcherépnine, compositeur, Fondateur du Conservatoire Rachmaninoff à Paris
- 12 A.V. Kartachoff, historien et Professeur à l'Institut de Théologie orth. à Paris
- 13 I.S. Schmeleff, écrivain
- 14 D.S. Merechkovsky, Z.N. Guippius, écrivains
- 15 N.N. Kedroff, Fondateur du Quatuor Kedroff
- 16 Prince F.F. Youssou-poff, qui a libéré la Russie de Raspoutine en 1916
- 17 K.A. Somoff, artiste-peintre
- 18 A.E. Tchitchibabine, chimiste-biologiste
- 19 D.S. Stelletzky, iconographe
- 20 Grand Duc Gabriel de Russie (Romanoff)
- 21 S.K. Makovsky, écrivain-poète
- 22 A.E. Volynine, Maître de ballet, ancien partenaire d'Anna Pavlova
- 23 I.A. Bounine, écrivain, 1^{er} Prix Nobel russe en 1933
- 24 M.A. Slavina, cantatrice à l'Opéra
- 25 Emplacement de l'Unité militaire du Général Drosdovtzeff
- 26 S.G. Poliakov, artiste-peintre
- 27 V.P. Krymoff, journaliste-écrivain
- 28 S.N. Maloletenkoff, architecte
- 29 A.G. Tchesnokoff, compositeur
- 30 Archiprêtre B. Zenkovsky, théologien, Professeur à l'Institut de Théologie orth. à Paris
31. Les Princes André et Vladimir de Russie (Romanoff) Princesse M.F. Romanovsky-Krasinsky, née Kschessinska, anc. prima-ballerine
- 32 K.A. Korovine, artiste-peintre
33. N.N. Evreïnouff, comédien, critique théâtral
34. I.I. et A.I. Mosjoukhine, artistes d'opéra et de cinéma
- 35 Olga Préobrajensky, ballerine
36. M.B. Doboujinsky, artiste-peintre
37. Emplacement de l'Unité militaire du Général Alexeïeff
38. P.N. Evdokimoff, écrivain-théologien
39. A. Remizoff, écrivain
40. Emplacement de l'Union des Corps de Cadets Russes, I.
41. Emplacement dit des « Gallipoli »
42. Carré de la Légion Étrangère, voir

la sépulture de Zinovy Pechkoff, fils adoptif de Maxim Gorki, et Général de l'Armée Française

43. K.N. Davydoff, Zoologue, ancien Directeur de l'Institut d'Océanographie en Indochine
44. A.B. Pevsner, sculpteur surréaliste
45. B.K. Zaitzeff, écrivain
46. N.N. Lossky, théologien-philosophe
47. V.A. Smolensky, poète
48. G.N. Slobodinsky, artiste-peintre
49. M.N. Kouznetzoff-Massenet, cantatrice à l'Opéra
50. S.S. Malevsky-Malevitch, diplomate - écrivain politique
51. Emplacement de l'Union des Corps de Cadets Russes, II.
52. L.Th. Zouroff, poète
53. Emplacement des Cosaques. Voir la sépulture de l'Ataman A.P. Bogaevsky
54. A.A. Galltch, poète
55. P. Pavloff et V.M. Gretch, comédiens, artistes du M.X.T.
56. V.N. Iljine, écrivain-philosophe
57. Ossuaire orthodoxe

15 лет назад сотрудница московского
музея Гоголя сказала мне, мысленно
скажу в увольнении: "Книжка,
маленький человек, филолог
Клюевский".

Прощаясь со "старыми" "Суперкадами",
благодарю всех, кто помогал нам
и поддерживал нас эти почти 4 года

Спасибо А. Туринский
9.10.91. СПб

Редакция: Алексей Гурьянов, Александр Новаковский.

При участии Арсена Мирзаева и Александра Скидана.

Художник номера: Владимир Барсуков.

По вопросам подписки обращаться: 197136 Санкт-Петербург, а/я
/тел. 213-52-08/

Выпуск номера осуществлён при поддержке СКО "Нева" при Союзе
кинематографистов России.

Представитель журнала за рубежом - Veronica Ahrens-Pulawski, Globus (A St
Bookstore) 332 Balboa street, San Francisco, CA 94118 USA. Tel.(415)-668-4722

